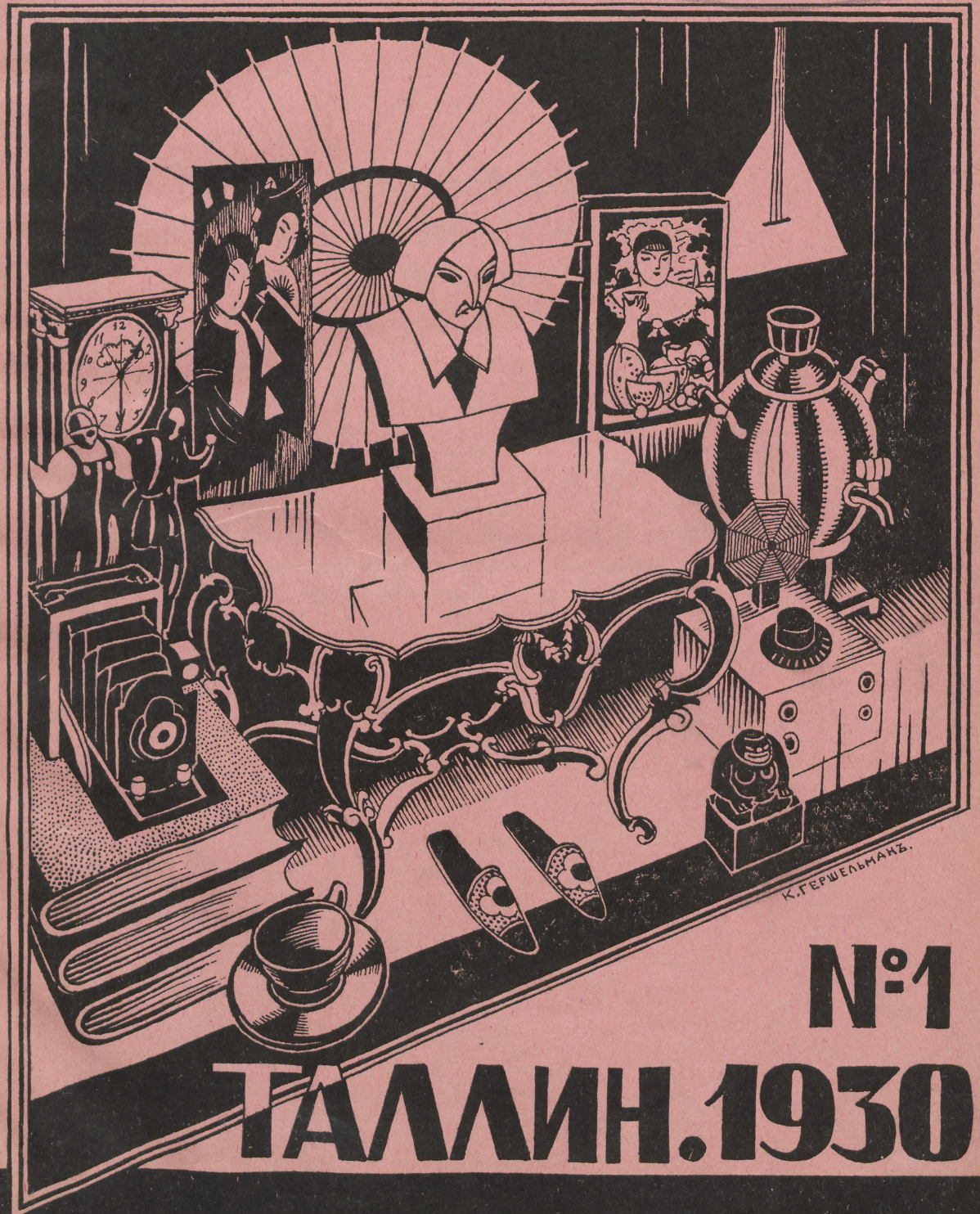


# РУССКИЙ МАГАЗИН



К. ГЕРШЕЛЬМАХЪ.

№1

ТАЛЛИН. 1930

# РУССКИЙ МАГАЗИН

Воскресный концерт пространства

Радио нам зовёт криво  
Стилей водьталоших, зигельских скребок  
В пыльной лавочке латинярей,  
На узкой улочке Луи-Филиппа.

## ЛИТЕРАТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

На албырой на прилесе матросской трубки  
В асфальту Австрики, дохлаки на ней лани  
Сумасшедшая Кюхля на карачиной трубки  
О, жидыш, жидыш, жидыш, жидыш  
Бродит в горах, в горах, в горах, в горах  
Сидит — сидит, сидит, сидит

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Ю. ИВАСК И С. ШЛИФШТЕЙН

ОБЛОЖКА РАБ. К. К. ГЕРШЕЛЬМАНА

ТАЛЛИН (РЕВЕЛЬ). СЕНТЯБРЬ 1930

№ 1

ИЗДАТЕЛЬ И. Л. ШЛИФШТЕЙН.

49239

РУССКИЙ МАТЭРИАЛ

ЖУРНАЛ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ИНТЕРВЬЮ-

**B. Beilinson'i trükikoda**  
**Tallinn, S. Tartu mnt. 32**

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Ю. КВАСН И С. ШИШИН  
ОБЛОЖКА РАБ. К. И. ТЕРИШВИЛ  
ТАЛЛИН (РЕД.) СЕНТЯБРЬ 1930

Est. B

Tartu Ülikooli  
Raamatukogu

5125

i 32377769

ТАЛЛИН (РЕД.) СЕНТЯБРЬ 1930

## Воскресный концерт пространств.

Радио пело воскресную арию  
Сотней вздыхающих, ангельских скрипок  
В пыльной лавочке антиквара,  
На узкой улочке Луи-Филиппа.  
В створчатом зеркале Антуанетты  
Толпились любопытные, белые тени.  
Перестраивая лиры, мертвые поэты  
Чувствовали новый прилив вдохновенья;  
И задыхались от едкого дыма  
Из забытой на прилавке матросской трубки.  
В поисках Америки, выглядывал над ними  
Сумасшедший Колумб из корабельной рубки.  
О, сколько надежд, о сколько мечтаний  
Бродят в пространствах, сгибаясь под ношей.  
Слышите — утопая, кричит Титаник.  
Наполеон к Москве пришпоривает лошадь.  
Сфинкс засыпает в песках Сахары.  
Плачет земля над горем Эдипа.  
Солнце сжигает крылья Икара,  
Под звуки вздыхающих, ангельских скрипок...  
..И ринувшись разом в поющий приемник,  
Сорвали концерт голоса из бездны: —  
О, сжальтесь, поймите — наш ад подземный  
В таком же молчаньи, как рай ваш надзвездный!...

## Ночной перелет.

Мы надели черные маски.  
Ровно в двенадцать взгремел мотор.  
Мелькнули внизу стальные каски  
И пики угрюмых уральских гор.  
И спокойно оставивши их на страже  
У ночной и темной родной земли,  
Мы летели вперед сквозь туман и миражи,  
Прямо на запад свернув рули.  
...Махал кровавым крылом пожара  
На северном небе огонь Москвы.  
Свистело кружение земного шара  
Тревожным шелестом листвы.  
И было лишь только - ночь и пламя.  
И было отчаянье всех надежд,  
Когда на рассвете мелкнул под нами  
Цепными мостами — Будапешт.  
Заря нас встречала розовым смехом  
На белых вершинах альпийских скал.  
А в полдень — Париж грохочущим эхом  
Нашим моторам отвечал.  
Тогда, поглядев на небо и землю,  
Усталый вожак наш сказал: — „Уже“!  
И рвущим крикам восторга внемля,  
Мы опустились в Ле-Бурже.  
Аероклуб преподнес медали  
За наш рекордный перелет.  
И все историки обещали  
Записать для потомства этот год.  
Мы осмотрели дворцы и храмы,  
Мы посетили и рай и ад.  
А вожак дал с Эйфелевой телеграмму: —  
„Этой ночью ждите нас назад!...“

*Вячеслав Лебедев.*

Чехия.

## Ералаш.

Ранней зимой в Париж приезжал немец из Мюнхена „изучать русскую литературу“. Никого не обошел, со всеми писателями познакомился. Кто-то из приятелей рассказал об Александре Александровиче Корнетове. Он и у А. А. был, смотрел Корнетовские достопримечательности: пилы и исторические альбомы. Да за одно и снял — для иллюстрированных „Эмблем“, такой в Мюнхене есть журнал. Но Корнетов решительно отказался от воспроизведения своего портрета.

— И какой толк: ну, будет смотреть на вас ничего не говорящая „китайская“ физиономия за подписью „А. Корнетов“ — меня еще за границей не знают! Давайте, я буду рассказывать о себе и из моих признаний составится обо мне представление, тогда и карточку можно!

— Ну чтож, — согласился рассудительный немец, — рассказывайте.

И три вечера держал А. А. своего гостя в очаровании, угощая душистым бесподобным чаем и сочинениями.

## Свой мир.

Я с годами заметил, что дни, о которых еще и звания нет и которые, рано или поздно, а непременно наступят, дают о себе знать задолго до наступления: привяжется мотив — музыка или стихи — почему? откуда? — и только потом понимаешь, что все это было не зря, и в этой музыке и в этих стихах ясно выговаривалось то, о чем даже и думать не мог, а вот... как разгадываешь много спустя странные сны. У всех ли это так? — или не замечают? — или у меня очень резко? — и самое незаметное и глубоко-скрытое я чувствую и вот... будущее захлестывает мое теперь — мой сегодняшний день. Я объясняю себе эту свою исключительность моей непохожей жизнью моего детства. А произошло случайно и могло бы быть по другому. Но это неважно: в „случайности“ как раз и выступает судьба — знак судьбы: стало быть так, а не иначе и надо было быть, чему должно быть.

До 14 лет жизнь моя была волшебная. Из этого мира я вынес мою изощренность в снах и остроту слуха. Другой раз вечером зимой вдруг слышу весенние звуки, подхожу к окну — от фонаря по мокрому плитам тротуара бьется дождик, но в моих глазах весенняя ночь — в теплом свете зеленеют платаны. И мои рисунки: они, как сны и слух, из тех волшебных дней — память и навык.

Я не художник, а рисовать мне, что горе-рыбаку рыбу удить — рисование моя страсть.

Первые мои опыты: мелом себе на ладонь, а с ладони шлепком на спину прохожему — и у того сзади вскакивал неизвестно откуда белый ушастый „чортик“, больше похожий на зайца, чем на чорта. Не мало меченного народа по утрам проникало Введенским переулком и Покровкой — гимназия на Покровке — в „город“ на Ильинку, и меченный над меченным, не догадываясь, потешался.

Еще заборы: я не пропускал ни одной остановки — где пишут „останавливаться строго воспрещается“ и на диком или красном тесовом поле выводил углем или мелом рожу — да таких носов рожу, насколько размах хватает. Рисовать козявок в те волшебные мои годы меня не влекло, я их не замечал, а все преувеличенно и необыкновенно — „слоновое“, как в волшебном фонаре. От волшебного фонаря и выходили у меня мои заборные размашистые рожи: пузатый с закопченной трубой и толстым, ярко и странно светящимся стеклом, фонарь — я его помню, как себя, и вижу: на глянцевиной изразцовой печке от его волшебного света дрожащие чудовища — люди, звери, птицы, носы, рога и лапы.

В перемену между уроками, когда другие слонялись или зубрили, я влипал в доску и крушил мел, зарисовывая ее до кончика. И только звонок отрывал меня, а заячья лапка или губка стирали с доски мои рожи. Огрызок мела я прятал: я и рисовал и ел его, как едят конфеты.

Я родился близоруким, но об этом никто не догадывался. Мои рассказы и замечания часто вызывали смех и удивление. Я жил в волшебном мире: какие огромные косматые звезды! а луна во все окно! — и все проникнуто тончайшими звуками. Цвет и звук был для меня не разделен. А лица — только цвет и свет, и только по краскам и осенению я отличал знакомых и различал встречных.

С 14 лет наступила для меня новая жизнь. А случилось так из-за моей неудачной пробы рисовать. Как-то в воскресенье я пошел в Строгановское училище — по воскресеньям для приходящих бесплатно. Я сел впереди на первую скамейку и принялся за работу: „задано было“, срисовать с натуры какую-то простую геометрическую фигуру. Что разглядел я в ней, какие звезды или какие луны мне представились? и когда, окончив, я подал учителю, он посмотрел на рисунок, потом на меня, и очень строго сказал, чтобы я больше не приходил.

Через всю Москву шел я, держа в руке мой фантастический рисунок — мороз, звеня зажигал разноцветные огни, иплыли окна в глаза мне, кололи колкою смесью леденцов; у Никольских ворот на лотках продают такую смесь, надо колоть как сахар. Я был в отчаянии: нарисовать то, что увидел, ведь это и требовлось, но почему же негоден? Тут-то вот и догадались, что у меня с глазами неладно. А доктор, освидетельствовав, попенял, чего мучили: „одиннадцать диоптрий“! И я надел очки.

И красочный звучащий мир погас.

Размеренный очерченный с крохотными зюзюточками, далекой луной и с всегда раздражающим солнцем, вот мой новый мир. Все другое — и сам я другой. И только во сне еще мне снилось — мой ушедший от меня мир. И я полюбил цветы: краска или эта форма мне что-то напоминало.

А долго я не мог освоиться. И до сих пор сохраняю, это из перелома, я никогда не могу сразу ответить на вопрос: мне надо время, чтобы мое глубокое из того мира перевести на слова сюда.

Так вот они какие на самом деле люди: не было, я больше не видел, осияния, одни резкие черты.

Какое безобразие! Там было все ближе, сцепленней, без всякой пустоты, а теперь отдельно и замкнуто, с провалами — очень сурово. Голос учителя, вернувшего мне тогда мой рисунок, слился с голосом размеренного, разграфленного на клеточки моего нового мира.

Заборы меня не привлекали, и в классе я не подходил к доске, равнодушно я смотрел на мел.

Согнувшись, я рисовал козявок, доступных только моим глазам — если снять очки и уткнуться носом в тетрадь, для нормального рябит. А мысленно — я это приноравливаю ко времени сна — без очков, крепко жмуря глаза, я видел как в серебряных кругах плыли передо мной знакомые чудовища; а потом они снились. Но пробуждение стирало волшебный образ.

С тех пор, как я увидел „нормальный“ мир, переменялась моя жизнь. Я ушел в книгу. И в книгах занимало меня то, что было в них из другого мира: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Лесков обернулись ко мне со своими снами. „Нормальный мир“, в который меня втокнул суровый оклик учителя рисования, какой чужой! — мне всегда было чего-то стеснительно и одиноко и больно — и какой жестокий! И наихудшим показался мне этот мир не у Достоевского, а в рассказах Пушкина и Тургенева,

Раньше я не читал книг, я только рассматривал картинки. Но срисовывать никогда не срисовывал, как никогда не пользовался линейкой и разлинованной бумагой. Вот и пишу я лестницей, и никогда не провести мне параллельных, и все географические карты висят на моей стене криво.

Козявки скоро мне надоели, все-таки они „натура“, а ведь меня по моей памяти влекло к „ненормальному“.

И я нашел: сучки на белом тесе. Всматриваясь, я стал разбираться — и никакому Босху, ни Калло не передать „ненатуральной“ жизни из того моего мира сучков. Еще облака — какая разнообразная чудесная жизнь! Я часами мог, не отрываясь, смотреть на небо. А в годы революции — время летело, не замечали, как годы шли, а дни и вечера бывали такие долгие, не знали, куда времени девать — и я, коснувшись обой,

заметил, что самый материал может дать из себя „небывалый“ рисунок, стоит только помуслить пальцем и начать водить, и я разрисовал все стены пустой комнаты: такие „видения“, что когда, бывало, придут с обыском, да осветит электричеством, посмотрят а в глазах зеленые круги.

А когда перед Пасхой красили яйца и, вынимая из краски, клали на бумагу — расплывшаяся и подтекшая краска глянула на меня знакомым миром: я бережно собирал „испачканную“ бумагу и, обводя карандашом, вызывал тех, таившихся в сучках, только они были ярки и нарядны.

Но этого мне было мало, да и какие сучки в Париже, нельзя и обои портить, и Пасха бывает только однажды. И вот после неудачных проб и упорства — последнее на чем я отвожу мою встревоженную тем миром душу, никогда не забывая ту странную мою жизнь, я просто углем вожу по бумаге. И выходит — я вижу. И, обводя карандашами, я стараюсь из этой путаницы вывести и не только внятнее моему глазу, но и для нормального. Не всегда это удается — да и как

угадаешь? И тогда я ставлю подпись под картинкой, а уж там кто как хочет.

А какой случай: сегодня ранним утром, пробужденный пожарным гудком, бросился я к окну — и увидел: красный автомобиль с пожарными, медные каски, и набитые корзины и чаны с мусором на тротуаре между платанами, какая-то женщина, нагнувшись, отбирает из свалки себе поживу, и еще подходит старик за тем-же, а за ним собака. И вдруг я схватился, что я без очков, а так мне все ясно. И неужели моя жизнь с постоянной заботой о „поживе“, как достать на завтра, в мелких и с никогда не сводимыми концами расчетах, открыла мне ясное нормальное зрение — и я отчетливо вижу с моего верха на тротуаре „ордюры“ и над ордюрами проворные руки?

Не веря, я еще раз взглянул в окно: из серого, как из облаков, подымали руки зимние сырые платаны, а там голубое — и отглегло на сердце. Мой мир со мной! — и никакой „случай“ не может его отнять.

*Алексей Ремизов.*

Париж. 1930.

\* \* \*

Маленький клоун начал стареть.  
Он не хочет картинки смотреть.  
Черное масло медлит гореть.  
Белая птица медлит лететь.  
Клоун и ангел вместе пришли.  
Черную розу в поле нашли.  
Клоун сказал: отдай ее мне —  
Много цветов там в вашей стране.  
Ангел заплакал и розу отдал.  
И отдалился в рассветную даль.

Все изменялсь, клонясь с высоты.  
В желтом дыму расустились цветы.  
С солнца горячий дохнул ветерок.  
Белый корабль отразил ручеек.  
Спит Иоанн, про далекие страны  
Голос поет безмятежно и странно.  
О, Соломея! ведь он твой гость —  
До самой ночи среди синих звезд.  
Тихо проходят года, облака.  
В поле течение меняет река.

Осень сияет в лесу на горе.  
Грезят рябины о мертвом царе.  
Черные сфинксы в розах молчат.  
Смерть улыбаясь входит в свой сад.  
Время! Очнись! Он заплакал, проснулся.  
Ангел прекрасный ему улыбнулся.  
Где я, что делал все эти века?  
Милый, ты спал у меня на руках.  
Сон твой был долог, высок, глубок.  
Страшен, как счастье, сладок, как рок.

1929  
Париж.



Спала вечность в розовом гробу,  
А кругом все было тихо, странно.  
В синюю, стеклянную трубу  
Ангелы трубили про судьбу  
В изумрудном небе летом ранним.

В темном доме призрак спал на стуле,  
На рабочий стол облокотясь,  
А в большом окне огни июля,  
Молча гасли, медленно тонули,  
На огромной глубине светясь.

Высока заря над Ронсевалем,  
Неподвижен вечер, кончен путь.  
За стенами рыцари Грааля  
Розу синюю в саду сорвали,  
И кого то улыбаясь ждут.

Осветил закат святые своды,  
Высоко на башне спят цари,  
А над ними в ясную погоду  
Корабли весны идут, как годы —  
С них играет музыка зари.

Колокол отбил часы разлуки.  
Высоко в горах сияет осень —  
Подойдет, забудет муку,  
И в землей испачканную руку  
Вложит розу золотой оруженосец.

Тихо скажет: лето миновало,  
Повернулся золоченый шар.  
Посмотри, как все возликовало,  
Лишь цари прочли в рассвете алом,  
Что вернется к нам твоя душа.

*Борис Поплавский.*

Париж 1928.

## **Хаим Цинсгрошэ.**

I.

Фединьке — нудно.

В окно глядит мерклый день ревельского марта — желтый вперемешку с серым. Громоздятся тусклые облачные глыбы. Сочится мутное солнечное пятно.

А что ниже? — Посмотри на залив, глянь в любое лицо, — все до нельзя ясно. Так явственны со второго этажа, — и камни у моря и зубы прохожих.

Но ясность эта, — дорого обходится, — режет глаза, сверлит жилки век. — Уж очень равномерно разлит свет, так что трудно воздать вещам должное. Черты, — по привычке существенные и по привычке маловажные, — одинаково наглядны. — Мир назойливо рябит в глазах.

Федя нажимает около переносицы: хочет чтоб больно было — хорошенько. И ждет чего-то: что ошарашит его безпредметную тоску.

Час, другой сидел ожидаючи... — пока не встряхнула зевота.

Сразу вскочил. Прошелся и — порешил: надо хоть какое-нибудь ну, самое маленькое дело...

Подвернулась подпись на папиросной коробке, — прямо по аисту: Кранк портной 37 4.

И отправился. Искомый дом, такой же как все в средней колонии, — квадратный, грязно-голубой, с двумя входами: для первого этажа и для этажа второго.

Ежели — 4: разумеется наверх.

Потянулись двери. Сквозь запах клазета дружный гул примусов забаяюкал пустующую голову Фединьки. А на встречу — какой то маленький.

— Кус элап рэтсеп?\*)

Маленький сразу повернулся. Фединька решил, что его ведут.

Маленький открыл дверь.

— Тэнан\*\*) — промямлил художник. И распознал нечто необычайное. — Мальчик лет семи-восьми. Глянцовитое, озябшее тельце на тоненьких босых ногах и пустые, внимательные глаза.

— Мис тэйэ соовитэ\*\*\*)

Я, я... \*\*\*\*) — но вы конечно говорите по русски... вы Кранк, вы портной... то есть извиняюсь... я хотел сказать: вы портной Кранк, а у меня пальто на вате... вату надо вынуть, чтоб пальто стало демисезонным... и малость подштопать надо... я зайду вечером... а пока вот... пойду без пальто.

Кранк прилежно принялся за осмотр Фединой хламиды. А Федя жадно накинудся на кранково лицо, дабы то самое: впечатление в коридоре, — отстоялось.

Прежде всего, согласно стародавнему приему, постарался увидеть нос совсем отдельно. Так — сыздетства. Так — еще тогда — в отчем доме на Якиманке, он лепил из оконной замазки — ноги, руки, пальцы и — носы, наконец еще женские груди, — за что впервые высекли. И все эти придатки, бывало, разгуливали, плясали, сражались.

\*) Где живет портной.

\*\*) Спасибо.

\*\*\*) Что вам угодно.

\*\*\*\*) Да, да.

Нос Кранка, повернутый в профиль, тоже зажил особой жизнью.

Ах, какой странный нос... как будто немного... впрочем — нет, нет! И так обуяли игривыя спазмы, что пришлось взяться за серьезную работу — переводить смешки в кашель. Так — обычно, после длительного разглядывания.

Между тем Кранк, откашлившись, ознакомился с новым объектом своей работы, показал свое лицо en face и спокойным, хрипловатым голосом, определил:

— Двести марок.

Фединька окончательно выяснив, что перед ним сифилитик в третьей стадии, отрывисто посмеиваясь, попытался:

— Я думал не более ста.

— Нельзя. Чинить надо много. Много где порвалось.

— Ну, сто пятьдесят.

— Нет.

Пристальные, пустые, белесые глаза Кранка равнодушно оглядывали посетителя.

— Мне сказали что дешево берете, а вы вот как...

— Двести марок.

— Вот какой упрямец.

Тут Федя решил, что можно. Он разразился очень громким и очень быстрым хохотом.

— Хорошо, хорошо, но сделайте к вечеру.

— Да.

Когда открыл дверь, вошел тот самый мальчик. Но — глазами не встретились. Федю поразила только худоба малыша. Он постоял за дверью, прислушиваясь к смешным для него, но аппетитным звукам идиша. Впрочем уразумел только одно: мальчика зовут Хаим.

Однако какие у нас в Коппеле! Прямо из гетто. Впрочем старика не сразу прирешешь за иудея, слишком коренастый и с лицом плоским, четырехугольным.

Побежал, звучно шлепая по уличной хляби.

А прохаживаясь по комнате — свистел и носком расшвыривал тряпки, кисти, трубочки. Потом вонзил свою плоть в привычно-негостеприимное кресло и уразумел: свобода. Пульсы восторженно билась в его двадцатипятилетнем теле. Еще секундочка предчувствий и — вскочил.

К вечеру наляпал десятка два хаимовых глаз среди глянцево-желтых полосок цвета хаимовой кожи. И завопил: Хаим!

Но сразу — шопотом: не Хаим, не Хаим, не... не...

Нет, нет думать о том нельзя... Пока что и так стада мурашек расползались по затылку, по спине.

В восемь отправился к Кранку.

А когда тот надел пальто на его стройную фигуру, спросил:

— Что с внуком живете?... и протянул две бумажки.

— Хороший у вас внук, очень хороший внук — и с любопытством взглянул на красную ширму, за которой можно было предполагать наличие Хаима.

— Племянник.— Поправил Кранк и открыл Феде дверь.

## II.

В этот вечер Федя больше не думал, ни о Хаиме, ни о Кранке, ни о живописи. Он запоем пил чай, курил из коробки с аистом и перечитывал Сон Обломова.

А когда лег, пришло приятное: хлынуло столько тепла тех лет — баснословных, на Якиманке.

И вот будто-бы...

— Сидят в ряд на родном лиловом диване: сухопарая тетка-щетка Агафья Николавна, и в шумном платии тетушка Марина Тихоновна, и пискливая тетечка Маша, и смешливая тетенька-толстушка Милушка, и толстый папенька, юркоглазый с добродушной бородой, и худенькая, поживаясь, подперев руками нежное, недоумевающее личико, — маменька.

И все теснятся, жмутся и мерно покачиваются под однообразное —

Федю-у, Федю-у!

Но вот встали и —

У-у-у-у — завыли и тронулись — летят, щекоча полами, фалдами, шалами. И Федя тоже вьется с ними.

Вот, вот о потолок треснутая. Но не треснулись, а мягко врезались в потолок.

И погнало их сквозь нескончаемый камень. И сами каменные и отчаянно большие. И все больше пухнут. И никак не убить сдавленные, бесконечно вглубь загнанные жилки, нервы, мускулы.

Гаркнуть-бы! И, как будто, — гаркнул Федя. И хрипы разбили каменные громады. — Все стали маленькими.

Маменька летит. — Худенькое тельце с иголочку, а шейный платок, — ниточкой из угольного ушка. А руки у всех по швам, только кисти, — едва, едва трепыхают крылышками плавниками. А ноги слились.

Тихо удивительно. Только сердце деловито бьется в заостренном существе.

Полет — медленный.

Некое важное воздымание.

Но они то родимые — выше и выше. А Федю вдружь заштопорило. — Ни туда, ни сюда. И окунулся в земную тишь собственной комнаты. Задергался, привскочил и мельком — Хаимовы глаза, — пустые, внимательные: чего то очень ждут, но знают все наперед.

Христо... — всхлипнул Федя.

И снова на подушку, в сон без снов.

## III.

Федя проснулся и продолжал жить, как раньше жил.

А когда вскоре явились белые ночи, он получил подряд на рекламы. — Приготовил колоссальную бабицу в самом молном купальном костюме. И, иные плакаты, тоже. Все это расставил и развесил на пляже у речки Бригиттовки.

И вовсе не утруждал себя воспоминаниями о странном сне и о странном Хаиме.

Только как то раз сообщил собутыльнику: — знаешь... на какого христосика натолкнулся... мальчик, что то вроде семилетнего, шупленький, а глазища — огромные светлые пустыни..

— Ну что ж, пиши... Федор Архипов!

— Ах, ну его к чорту.

А лоскут холста с доброй дюжиной хаимовых глаз покрыло лицо той самой девицы, которая теперь варила кофе в его комнате, тогда как Федя, — голый, стоял в тазу и сверкал на воскресном солнце белым, длинным, неловким телом.

Девушка, чуть сутулясь поглядывала на него тоскливыми, добрыми глазами.

— Эх, ты — Варвара, Варвара, сказал Федя, облачившись в серый костюм. И взял ее за нос.

— У тебя отличный нос... вон какая горбинка... но незаметный... для тебя нехарактерна его красота.

Она же молчала.

— Вон — продолжал Федя и ткнул в сторону ея портрета — там твой нос красавец... и поэтому нет никакого сходства между тобой и моим произведением.

Варвара провела губами по его только что выбритой, кислой от квасцов, — розовой щеке и поставила кофейник на стол.

Он пил коричневую жидкость, — причмокивая. А она — с ложечки; при каждом глотке маленькая кофейная порция — медленно, осторожно трепетала и тихонько всхлипывала в ея узком горле. А покончив с этим занятием, провела средним пальцем по гладко приглаженным волосам, и вымолвила:

— Пойду теперь Федя.

— Иди, иди, молчальница.

Вышли вместе. Легкая, вечерняя теплынь нежно прикоснулась к ним.

Стояли в дверях барачков и прогуливались девицы и кавалеры, — русские и эстонские. Все они хихикали.

Федя довел Варвару до аптеки.

— Ну, ну дежурь — сказал он и пошел к кладбищу вдоль рельс коппельского трамвая.

Вот замелькали знакомые памятники.

С удовольствием покосился Федя на надпись, всегда удивлявшую его:

„Maria-Theresa Maslowa“.

Прошел мимо облупленных склепов с блеклыми гербами и вышел на коппельский пляж. Там тоже прогуливались кое какие кавалеры и девицы.

Зеленые волны в золотых искрах весело катились ему под ноги, а вдали синели и дымились беловатым и пушистым паром, — там в Финском заливе.

Позади Феде, за песочными полями, за рабочими форштадтом Пельгулином, угрюмо топорщился — ревельский Вышгород, маленький ипохондрик.

После скучной работы, после пьянства и двух странных дней с Варварой, снова почуял ни к чему не обязывающую, детскую легкость в теле. Его долговязая фигура медвеженка славно потряхивалась, — косолапо и размашисто.

Обратно шел мимо печальных руин индустриализации бывшего судостроительного завода Беккер. Близ одной кирпичной громады, — (эдак с московский Большой Театр), повстречался с кучкой еврейских детей.

— Ба... ведь это Хаим... — гаркнул Федя и, улыбаясь произнес единственное, известное ему ругательство на идиш:

— Грасс фор дайнэ тирэ вакси!

Маленькие израильтяне в засаленных синих фуражках еврейской гимназии, егозя обступили его.

— Хай, Хай. . Цинсгрошэ, тебя знает онкль!.. Но Хаим молчал. — Неподвижно глядели его внимательные, чуть удивленные глаза, — то черные, уходящие вглубь, то бледно-голубые. И были они безо всякой оживляющей задоринки, — очень пустые, словно сухие. И как тогда ночью, померещилось Феде — чего-то ждали, но наверняка знали все наперед.

— Хаим, хочешь нарисую тебя?

Тот молчал.

Он никогда не говорит... только уроки отвечает, пропищали хаимовы товарищи.

— И хорошо?

— Ой, хорошо!

— Первый ученик?!

— Не... первый Оська Файн... Хаим второй...

— Третий, третий, оспаривали другие.

Во всяком случае весьма загадочная личность — засмеялся Федя. — Да, обязательно нарисую... вот принесу краски, холст, кисти... ну-ка... кто поможет мне?

Все, за исключением Хаима с визгом из'явили согласие.

— Только один пойдет. И выбрал самого шустрого, одного рыжего и веснушчатого.

Когда возвратился, взял Хаима за руку и повел к морю. Хаим не противился. Художник усадил своего натурщика на камень около самой воды, — с таким расчетом, чтобы весь он был на фоне моря.

— Вот, вот, Хаим-христосик... Теперь будешь ты у меня средь синего моря... Нестеров посадил-бы под березку, а я хочу, чтоб был ты у меня приобщен к влажным стихиям буяна Поссейдона.

Мальчишки суетливо, с пылом наблюдали за новым для них, чрезвычайным зрелищем. И видимо возымели большую симпатию к художнику.

Хаим спокойно восседал на камне.

А у Феде ничего не выходило. Среди голубых и синих пятен на холсте, — Хаим имел вид совсем бессмысленный, как у куклы, а то, — мертвый, покойнический. Шло уже к семи часам. Залив стих. И море и небо побледнели, устали. Солнце лучилось скупс, неискренно; оно как бы со стороны смотрело на свою работу.

Еще один раз, напоследок, — с отчаянием взглянул Федя на Хаима

— Тебя, милый мой, надо как то встряхнуть. И из о всех сил подбросил хаимово тельце. И еще подбрасывал. А мальчишки кругом затихли и с недобрый любопытством следили за Федей. Сами они пробовали задирать Хаима, но ничего не выходило. Хаим удивленно без всякого испуга и злобы оглядывал озорника и тем самым отбивал у него всякую охоту к дальнейшим приступам.

Однако, внезапно, Хаим вцепился в Федину руку и укусил в мякоть около ладони.

— Ах, какая свинья.. — хрипло прошептал художник и отпустил свою жертву.

— Думмкопф, идиот! — завизжали мальчишки и угрожающе надвинулись на Хаима.

Хаимовы глаза стали еще больше и неподвижной. Они были двумя сухими углями на желтом, глянцеовитом личике. А сам, — весь взъерошенный, с нелепыми вихрами невьющихся пепельных волос.

Федя платком зажал ранку.

— Ах, ты, — дурачек, я же в шутку... а вы оставьте его... он совсем глупый мальчик... ну что ты...

И осторожно пригладил хаимовы вихры. А у того глаза побледнели, стали попржнему ровными, немошно-голубыми и удивленными.

— Вот что, сядем тут... на травку, успокоим наши расшатанные нервы.

Все уселись. Хаим тоже, — скрестив ноги.

Воззрившись на Хаима, — молчали.

А тот сорвал несколько желтых, жирных цветиков, слегка погладил их и положил эти будущие одуванчики Феде на колени.

— Боже, до чего трогательно — смутился художник и захотел. А затем вдохновился: рассказал свою любимую андерсеновскую сказку о безобразном утенке. Хаим был все такой-же. Только, так казалось Феде, — выглядел более хилым. Вскоре разошлись. На прощание он купил фунт халвовых конфет, собственноручно оделив каждого.

#### IV.

Дня через четыре Кранк, часов в восемь явился к Феде. — Тот смотрел в окно на матовую гладь залива и скучно раздумывал: какого цвета нынче вода — больше оранжевая или больше лимонная. Работы пока что не было. Варвара, что то не приходила. Ехать к товарищам на выпивку — лень. Ничего не хотелось. В казенку сегодня опоздал, так и не достал никакой улады для тоскливого досуга.

— Ну? — не вставая, спросил он Кранка.

— Вы рисовали Хаима, — отдайте мне картину.

Федя повеселел: — Ах, вот как... вы желаете получить портрет вашего племянника... ну, что-ж, может-быть сойдемся в цене... — И вынул холст с двумя, небрежно намалеванными физиономиями Хаима.

— Как видите неоконченно... М-да... и оканчивать не собираюсь.

— Как хотите.

— Так, так... а все таки меньше... двадцати тысяч не возьму... и чтобы никакой торговли... или убирайтесь к чорту.

— Двадцать тысяч, — да.

— Федя захохотал.

— Платите.

— Завтра приду платить.

Экий сионский мудрец, — прошептал Федя по его уходе. — Откуда у него такие деньги... я ведь целый месяц проживу всласть... впрочем, может-быть и надует эта загадочная личность.

— Но Кранк пришел. Уплатил и унес портрет. Федя был пьяный и вялый. И отнесся к этому совсем равнодушно. Он, вообще начал пить более обыкновенного. А тут еще кранковы деньги.

Как то раз, будучи под парами, неосторожно об'елся мороженым. Получил воспаление в легких. Варвара взяла

отпуск. Усердно ухаживала за Федей. Недели через три дело пошло к выздоровлению. В последний день месячного отпуска Варвары, он уже смог снова стать ее любовником.

На утро сказал ей: ведь опять запью... а года через два помру в чахотке... и тебе куда-же дорога, генеральская дочка... ах, и до чего шаблонно..—

— Ну и что-же — отвечала Варвара и стала одеваться.

Давно уж он мечтал навести справки о Кранке. Но все не удосуживался. Наконец узнал от своей словоохотливой лавчицы:

— Кранк портной... есть такой, знаю... одинокий старик, с племянником живет... ничего, аккуратно работает.

А разговорившись со сторожем-евреем на беккеровском заводе, узнал:

— Кранк! Ну какой это еврей?! К синагоге не приписан, даже не знаю, как это взяли его племянника в нашу еврейскую школу... ну, а живет он по эмигрантскому паспорту... говорят с Украины приехал... он совсем не хороший еврей...

— Сектант, что-ли?

— А, не знаю... кто его знает!

## V.

Наступил ноябрь.

Федя сидел у себя, один. В легких было пустовато. Он внимательно прислушивался к звукам в груди: там что-то попискивало и похрустывало.

А море оглушительно шипело за черным окном, по которому ветер бил кулаками.

На днях Федя узнал от одного из своих знакомых, юных израильтян, что Хаим Цинсгрошэ умер, проболев с осени. Так в школу и не приходил.

Художник напрасно пытался вызвать в памяти хаймово лицо. — Может никогда его и не видел... вот и нос никак не могу представить!

Но являлись картины совсем другого характера.

Вот, придет Кранк, посмотрит словно Вий и неистово заорет:

Хаим Цинсгрошэ умер.

Хаим Цинсгроше воскреснет

Сегодня в полночь.

Хаим Мешеах.

И Федя поверит. А потом... Нечто трескалось по углам. Но Федя не вздрагивал. Не вздрогнул и при стуке в дверь. Но был — белый и с чужими, дряблыми руками, когда вошедшим оказался Кранк.

— Картину принес. И положил нечто завернутое, Феде на колени.

Ничего чрезвычайного в Кранке не замечалось. Те же белесые, пустые глаза и нос все такой же: мясистый с небольшим изъясцем на переносице.

Когда Кранк был уже в дверях, Федя вскочил и догнал его.

— Говори... ты хотел из него чудо сделать... еврейского Мессию, что-ли... да? да.. я знаю...

— Что?

И равнодушно глянул на Федю бледным, черырехугольным своим лицом.

— Что ты хотел сделать из Хаима Цинсгрошэ?

— Ничего.

— А как ты мог у меня купить портрет Хаима Цинсгрошэ за такую цену... Откуда у вас столько денег на мою мазну, а?

— Я выиграл много на лоттерее.

— Неужели?.. А может-быть не хотите сказать?.. И во всяком случае — не миллион долларов... вы могли бы поторговаться... я возможно, и задаром отдал бы... тогда ведь со злости заломил такую цену... ах, и нагрубил же я вам... тогда... когда-то.

— Я знал вы бедны.

— И пожалели меня! Раскошелились! Зачем, зачем... что я вам?..

— Вы сделали хорошо Хаиму.

— А Хаим-то меня укусил.

— А вы играли с ним.

— Он вам рассказывал?

— Рассказывал и смеялся.

— Смеялся?! — Федя словно проснулся.

Значит Хаим не видение. Христос.. христосик..какая чушь! Попросту маленький, больной мальчик.

А Кранк пожевал губами и потрогал левой рукой правую. Помолчали. Наконец, Кранк начал:

— Вы хотите знать... ву так вот... я был когда-то революционером... эсером... и когда-то стал сифилитиком... лет дееять... сюда попал... с семьей брата... он уже умер, был такой не похожий на нас: пьяница... а жена его сумасшедшая была, тоже умерла... я взял их сына — и стали жить вдвоем — одни... никого нам не нужно было... портняжничал.

Федя опустил голову и вяло продолжал допрос.

— Ну, а почему отдали в еврейскую гимназию?... вас, кажется не любили местные евреи?

— Я хотел, чтоб, он был среди евреев.

— Почему?

— Хаим был еврей.

— Вполне с вами соглашаюсь... но, мне думается, вы хотели сделать из него такого-же неблаговерного еврея, как вы сами.

— Я не в кагале... а кем бы стал Хаим не знаю.

— А что вы учили его вашим молитвам?

— Нет, но в школе учили.

— А что вышло бы из Хаима?

— Не знаю, не знаю... я только смотрел.

— Мессия, не мессия... ну, а хотя бы Карл Маркс... или какой-нибудь ваш Иегуда бен Галеви?

— Не знаю.

— Толку от вас не добьешься, — устало накинудся Федя, — ведь что ни будь да предполагали... ведь вы очень умный человек.

— Не знаю, не знаю — монотонно повторил Кранк ели слышным, поскрипывающим голосом. Казалось, вот сейчас, стоя заснет. Веки были опущены. Только рваная, черная борода оживляла его бледное, четырехугольное лицо. А на массивной скуле Федя заметил несколько капель — неужели слезы? Обыкновенные слезы? И оторопел. Как будто погрузился в тот же самый столбняк, что и Кранк.

Через одну, до нельзя удлинившуюся минуту, Кранк повернулся и вышел.

Федор Архипов, пройдя мимо своего любимца — древнего венгерского собора, очутился на улице, которая носила название — „Zidovska“.

На Варваре он женился. И, вот уже месяц, как поселился в Прессбурге. Сюда его выписал старый товарищ, — хозяин местного бюро реклам. Этот город несколько напоминал Феде Ревель, — особенно, судя по здешнему вышгороду. Но вместо своенравного финского залива, здесь тек забитый, желтый Дунай.

Федя внимательно присматривался к окружающему.

Отговсюду глядели глаза, — не такие, как у Кранка и Хаима, не пустые, сухие, а влажные, рыбы: неподвижные и пристальные. Но чудилось в них то-же неблагополучное одиночество, то-же испытующее внимание.

Почти посредине улицы сидел какой-то, — неизвестных лет в халате грязно-голубого цвета. И удивленно осматривался. А другие усердно спешили: юркие дети, матроны, то черезчур костлявые, а то невероятно жирные, и старики в ермолках с оттопыренными бородами.

Какие у нас бледные лица — сравнительно с ихними, лениво подумал Федя. И все, как будто смертельно усталые, но вместе — безумно-напористые.

Однако! — Ведь это ветхозаветная царица Эсфирь в девяностолетнем возрасте. До чего дряхлая, ели на ногах держится, а голова с тонким, крючковатым носом, козалоь — вот, вот свалится с истерзанной, морщинистой шеи. Но в водянистых глазах и в зияющих складках около исчезнувших складках губ, — было столько неиспользованной ярости, что Федя даже отпрянул с болезненно-щекочущим ощущением около адамова яблока. Какая фатальная, — прошептал он.

Шло уже другое видение. — Молодой, румяный кантор в длинной, черной хламиде и с холеной, квадратной бородой в мелких завитках. Он поражал восточными, огнедышащими красками на щеках. А белые руки его были неестественно малы и узки приподнятые плечи.

Июньское солнце ожесточенно палило и усиливало вонь пыли, пеленок и чеснока.

Ему было тошно и темнело в глазах, — так что знойный воздух казался пепельным в золотистых искрах, А это также нудно, как и регельские, сырые, мерклые дни.

Между тем еврейские лица, сильней и сильней — страстно врезывались в его измежожденные мозги.

Теперь ему действительно жить оставалось недолго, одно легкое уже съедено.

Он умрет вероятно осенью, — приблизительно через год после Хаима и повесившагося Кранка.

*Б. Афанасьевский.*

Ревель—Коппель. 1930.

## **Д р у з ь я м .**

Все трогает жалостной, бережной лаской,  
И жизнь, как ни как, все еще хороша!  
Таятся в тебе сокровенные сказки,  
Прекрасная нежно-девичья душа.

Все трогает: пять минут нежности к другу,  
И пять — безпокойства о том и другом.  
Вся жизнь заполняется — кругом по кругу,  
И кругом по кругу сияет кругом.

Казалось бы много прекраснейших песен  
Пропели во имя чудесной любви,  
А все их поет нежный голос невестин,  
И все им внимают, смеясь, женихи.

Друзьям я оставлю мое завещанье  
О том, что вся жизнь, как ни как хороша;  
О том, что свершение счастья — страданья —  
Есть девичья — милая нежно — душа!

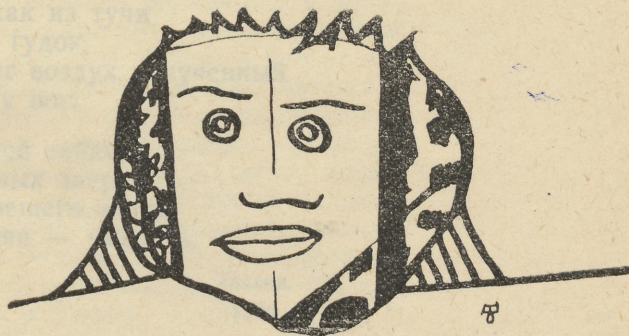
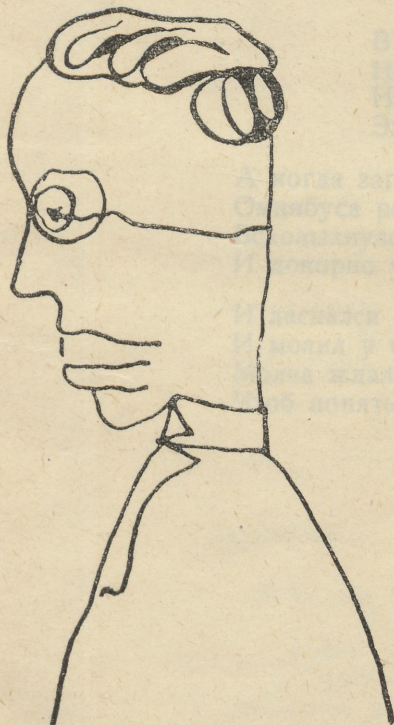
Люблю мою юность и юности ваши,  
Мои собутыльники в белом пиру,—  
Никто нам не жалок, никто нам не страшен,  
И нет — не прекрасного — нет на миру!

Гарту.  
1928.



**Д. П. СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ**  
 автор — Contemporary russian literature — Paris MCMXXIX

**БР. БР. СОСИНСКИЙ**  
 автор — В гостях у времени — Paris MCMXXIX



**ГАЙТО ГАЗДАНОВ**  
 автор — Вечер у Клэр — Paris MCMXXX

**ИВАН АНДРЕЕВИЧ БОЛДЫРЕВ**  
 автор — Мальчиков и девочек — Paris MCMXXX

Русские писатели в Париже в исполнении  
 А. М. РЕМИЗОВА.

## К о п п е л ь.

И впервые дыханием стужи,  
Возвращенную встретил меня —  
Белый Коппель — немой и завьюженный —  
Целым ворохом ветра-огня.

Засвистал, пронизал до кости,  
Ледяною рукой приласкал.  
Отразил возвращенную гостью  
В миллионах тяжелых зеркал.

Грозный — смертью грянул навстречу,  
Грозно — новые жертвы узрел.  
И — победный смеялся вечер:  
Над гримасой хмурых — зверел.

И, как пьяный, лукавый нищий,  
Сиротливо считая кусты,  
Нам злорадно кивал на кладбище —  
Там сквозь тьму белели кресты.

В уголок, продрогшие сжались,  
Но не грел дырявый забор.  
И, озлясь познавала жалость  
Этой жизни — смерти — позор.

А когда загудел, как из тучи  
Омнибуса ретивый гудок,  
Всколыхнулся вдруг воздух измученный  
И покорно улегся у ног.

И ласкался покорной собакой,  
И молил у бездомных зверей...  
Молча ждали мы вешего знака,  
Чтоб понять и поняв — умереть.

Таллин.

1929.



У тебя на лбу, простая,  
Мысик из волос.

У тебя в морщинках — стая  
Соловьиных грез.

У тебя в глазах, что в море —  
Волны развели.

В них гуляют на просторе  
Мысли корабли.

У тебя из глаз, как солнце —  
Лучики тиши.

Ах, глаза твои оконца  
Голубой души.

Свои белые улыбки,  
Радуюсь, звеня,

Ты рассыпала по зыбкам  
Мирового дня.

И поют, звенят из зыбок

Белые они:

Целый мир святых улыбок —

Лучики — огни.

Юрьев.

1926.

## П о л е н ь я .

Распилили дерево на куски неровные  
И сложили в погреб темный и сырой.  
И дрожали бедные — скученные бревна  
Белой и шершавой, раненой корой.  
Маленькими тельцами судорожно жались —  
Все тесней и ближе, жалобно дрожа.  
И сырели жалкие и просили жалости,  
Утопая в жижице, где желтела ржа.  
На петлях заржавленных, с хрипом человеческого,  
Двери растворялись в темный погребок.  
И тогда по лестнице — бился к ним навстречу —  
Нежный и родимый — солнца ручеек.  
Руки были грубые; жесткою веревкою  
Мучили и скручивали их в вязанки дров.  
И сжимая губы — старая чертовка  
Сбрасывала с шумом в старое ведро.  
Но не знали в погребе, что их ждет за лестницей,  
Что звучало в голосе: „я уже несущ“.  
Может быть та старая — радостного вестника;  
Может быть, ушедшие сызнова в лесу.  
И шептались шорохом — глупые поленьица,  
Те, что были ниже всех, в жижице, внизу. —  
Прижимались маленькими сломанными тельцами,  
Все тесней и ближе: „скоро унесут“.  
И тогда им чудился лес мечтой желанною,

Деревянных ратников ряд отважных лиц.  
И еще им снилось радостное, ранее —  
Самое любимое пенье милых птиц.  
И ржавая в серости и серея в ржавости,  
Разбухали сыростью, наливались мглой.  
И кора их нежная, белая, шершавая  
Стала нынче серою, липкою землей.  
Шли часы, как месяцы, сутки как столетия.  
Долго ждали в погребке: скоро-ль унесут.  
Но уже казалось никогда не встретиться,  
Ни за что ни встретиться с птицами в лесу.  
Но пришло желанное, на петлях заржавленных,  
Пропуская солнышко, растворилась дверь.  
И на спину взвьючены и веревкой сдвинуты —  
Унеслись последние в тайное „теперь“...  
Но не лес, а пропасть раскаленной печенки... —  
Притянула — словно щупальцами спрут.  
Звякнули заслонкою и последней встречею,  
Была встреча с тягою, с тягою в трубу.  
А потом вдруг — что-то — ласково коснулося  
Острыми иголками сереньких телец.  
И тогда поленья — дружно ужаснулись:  
Как то сразу поняли, что вот это: смерти!  
Огонек заигрывал, как котенок с мышкою,  
Огонек потрескивал деловым сверчком  
И с простой, незлобивою, тихою усмешкою  
Целовал поленья желтым язычком.  
Рос и становился все сильнее в росте,  
Золотом касался обнаженных ран.  
Язычком — пилюю в серенькие кости  
Впился — и так долго-долго роздроблял.  
Все забылось быстро от безумной боли:  
Золотые искры лес и птиц сожгли..  
Из о всякой ранки с шорохом невольным  
Пузырьками влаги исходила жизнь.  
В куче обгорелых, золотом постылым  
Окропленных в смерти — маленьких телец, —  
Лишь одно поленье, все еще любило,  
И не позабыло пенья милых птиц.  
И вот в шум упала — песенка другая, —  
В этом грозном море треска и огня:  
Вся от боли жгучей, тихо содрогаясь,  
Песню птиц в лесу запела головня.

*Стернаш.*

Ревель. 1930.

# По поводу и по случаю.

## Тридцатые годы минувшего столетия.

Николаевщина на Руси. Провели первую железную дорогу и затравили Пушкина; работали над Собранием Законов и утомили поляков. Низкие цены на хлеб отбивали у помещиков охоту к освобождению крестьян. Наоборот, подымающий голову „буржуазный класс“ старался избавиться от посессионных крестьян и перейти к вольному труду. В связи с развитием торговли и промышленности, укрупненных покровительственными пошлинами тарифа 1822 г. вырос интерес к восточным рынкам. Это оказало некоторое влияние на внешнюю политику. По Ункиар-Искелесскому договору 1833 г. Черное море стало „русско-турецким морем“. В 1836 г. русские появились в Афганистане, на границе Индии. В 1839 г. гр. Перовский предпринял поход в Хиву, Все это привело к обострению отношений с Англией, которая должна была уменьшить свой экспорт в Россию. Крымская война висела в воздухе. Русский флот еще стоял тогда на высоте положения. Однако, изобретение винта, использованное англичанами, страшно понизило его значение.

Будущие славянофилы и западники дружно вникали в Гегеля. Гоголь начал Мертвые Души. Толстой проводил детство в Ясной Поляне, а Достоевский

юность — в петербургском инженерном училище.

В Западной Европе буржуазия одержала крупные победы в двух самых цивилизованных странах: царенье Луи Филиппа во Франции и реформа избирательного права 1832 г. в Англии. А немецкое „передовое общество“ безнадежно ненавидело Меттерниха и с благопристойно-либеральными намерениями ожидало смерти Фридриха-Вильгельма III прусского.

Гегель умер от холеры. Гете — от дряхлости. Маркс тихо учился в университете.

Маленькие кровопролития хорошо улаживались в Греции и Бельгии: эти страны получили самостоятельность. Неудачные восстания в Италии. В Испании и Португалии, — после незначительных стычек утвердили на тронах двух малолетних королей, — вторую Изабеллу и вторую Марию!

Действительно, мирное десятилетие. На фоне его Фурье, Прудон и Сен-Симонисты выглядели безобидными фантазерами. И алый меч 1848 года, неумолимый, разящий — казался смутным, бледно розовым призраком.

## О Шиллере.

(К 125-летию со дня смерти).

Для русского читателя, Шиллер принадлежит к классикам, которые занимают почетное место на книжной полке, но в руки попадают редко. Так например наши символисты увлекались гетевским Вечно-Женственным, но равнодушно прошли мимо Шиллера. Вот только театр

никогда не забывал его. Стоит лишь вспомнить, как Ермолова в Иоанне д'Арк и Марии Стюарт, зставляла москвичей неистовствовать. Однако, творческий мир Шиллера, действительно задел за живое, кажется, только людей сороковых годов — Белинского, братьев Достоевских. Знаме-

нитые слова младшего—Феодора Михайловича — „красота спасет мир“ — перекликаются с шиллеровскими: — „красота должна спасти мир..“

Шиллер, голубоглазый „идеалист-немчура“, многим представляется каким-то старомодным патетичным юношей. Симпатичен — да, но „мало знает жизнь“, таково мнение широкой публики. Впрочем и завзятые любители поэзии отделяются от него общими фразами или—обходят молчанием. Явно, — шиллеровская сокровищница вышла у нас из употребления. Однако, попробую подыскать к ней надлежащий ключ.

Напомню такие строки

Unergründlich ist das Wirken,  
Unerforschlich ist die Kraft.

„Punschlied“.

и

Weltenbrand wird Hochzeitsfackel werden,  
Wenn mit Ewigkeit die Zeit sich traut.

„Phantasie an Laura“.

Неисследимые основы творчества и мировой пожар, как брачный факел на свободе Вечности и Времени,—эти образы указывают на две бездны шиллеровской души, — на темную, нижнюю бездну (абсу-вавилонян, библейское „ничто“, из которого был создан мир, хаос греков, гиннунгаган древних германцев), и—на бездну огненную, впереди.

„Разбойники“ и лирическая трагедия „Мессинская невеста“, — особенно явственны для познания Шиллера. Эти вещи бледнеют перед стройной архитектурной трилогией „Валленштейн“. Но в них чувствуется основные шиллеровские реальности. Пусть, — декламация Карла Моора или Дона Цезаря, иногда вызывает усмешку или даже скуку. Ведь Шиллер, в противоположность культуртрегеру Гете, был варваром в царстве красоты. Он молился и пел с неистовыми словами на губах. А такие слова быстро ветшают! Однако, ежели преодолеть недоумение перед фразами, ставшими „громкими фразами“, — поседевшая муза сызнава заговорит „понятным сердцу языком“. И тогда шиллеровская поэзия сможет потрясти более, чем гетевская, над которой антропософы так рьяно ломают свои мудрые головы. Шиллеровская поэзия чрезвычайно близка к девственным родникам и недрам жизни и бытия. Тогда как Гете всецело опре-

делен культурой, только ею. Мефистофель Фауста, как и чорт Ивана Карамцова, бесы культурные, они нечисть цивилизации. Между тем, в изступленных монологах Моора, в военных кликах „Лагерь Валленштейна“, в шуме морском у ног „Мессинской невесты“,—слышится подлинный „взаправдошный“ голос неприкаянных мировых стихий, которые „по ту сторону добра и зла“, которые еще не вышли на белый свет. Однако, сам носитель этих стихий прожил „жизнь мирную“. Наиболее ярким моментом было бегство от „тирана“ — герцога виртембергского. Уже тогда Шиллер надорвал свое здоровье. Но зато другой герцог, — знаменитый веймарский меценат Карл-Август, открыл перед ним перспективы спокойной, семейной жизни. А „философ, занимающийся нравственностью“ — Кант обуздал его молодой темперамент. Теперь изменилось его отношение к Революции. Он отказался от звания почетного гражданина французской республики. А впоследствии, автор „Разбойников“ заклеил Великую Революцию в знаменитой „Песне о колоколе“ (1797). Это произведение, наряду с гетевской поэмой „Герман и Доротея“, является апофеозом „мелко-мещанской идеологии“, прославлением того германского бюргерства, которое дало Лютера, Канта, Гете („именитое купечество“ Франкфурта) и самого Шиллера (швабская мелко-мещанская среда). — Из всех этих гениальных бюргеров, Шиллер, не смотря на постепенное умиротворение творческой страсти, — особенно близок древним германским варварам, дерзко, но в итоге тшетно грозившим романскому миру. В прямолинейности людей „железной дисциплины“, (Лютер, Кант, Бисмарк, Мольтке),—тоже нечто варварское, противоположное пластическим формам эллинско-латинской культуры. Однако, „сырые матерьялы“ древне германской души,— наиболее отчетливы в неукротимой, но просветленной шиллеровской поэзии. Шиллер всячески старался упорядочить, оформить эти неиспользованные „сырые матерьялы“. Но, думается, главное его значение в том, что он выявил их темные, но девственные недра.

Известно, что сердцу Шиллера очень много говорила Эллада, — но не культурная, а опять таки варварская — темная, мифическая. Тому доказательством

такие потрясающие стихи, как „Боги Греции“, „Триумф Любви“. Они свидетельствуют о тяготении Шиллера к дикому, невинному человеку, пребывающему в „естественном состоянии“, согласно обольстительному мифу Руссо. Но в противоположность идиллической настроенности этого „царя и бога“ XVIII в., страстный трагический дух германского поэта, был шире и требовательнее в своей мечте о золотом веке.

Warum bin ich geengt, gebunden,  
Beschränkt mit dem unendlichen Gefühl.

(воскликает Марфа в последней, Шиллером неоконченной трагедии „Димитрий“).

В этих предсмертных словах раскрыт весь Шиллер, — терзаемый между темной бесконечностью и светлой вечностью. Именно здесь обнаруживается общечеловеческое значение Шиллера, варвара — светоносца, — узкогрудого, но никогда не укрошенного. — „Все лучше, все яснее“ сказал он за день до смерти Авот Гете, тайновидец культуры, — был затемнен смертью — „Больше света“, крикнул он, умирая.

## О Пастернаке.

Она умерла, — как это удивительно, — сказал один из героев Флобера. И взаправду, как ни силен столбняк скорби перед лицом смерти, всегда как то невольно изумляешься в некоторой, далеко запрятанной мозговой извилине. Движение и вещи, такие привычные, внезапно становятся неожиданными, странными. Необычайно: вон и это окно, и какие то там мысли в опустелой голове, и эти часы, и свои собственные руки. Именно такого рода реальность удивления особенно явственно проступила в Пастернаке, поразив его десять лет тому назад, в пору несслыханной революционной встряски.

Наиболее яркие поэты — изступленно неподвижный Блок, нежный, гибкий Есенин, и тогда по мере сил страстно стремились к пророчески ясному уразумению эпохи („Двенадцать“ и „Скифы“, „Русь Советская“ и „Пантократор“), а Пастернак не пророчествовал, он только удивлялся —

В осиротелой и бессонной  
Сырой, всемирной широте.

И удивленно спрашивал —

Какое милые у нас  
Тысячелетье на дворе.

И прислушивался к нашептываниям „всесильного бога деталей“, — деталей неожиданных в „вечной природе“ и странных в треснувших формах культуры „старого мира“.

И со семи этими всколыхнутыми вещами за пазухой, с бодрым изумлением в глазах, разгуливал под дождями, наводнившими его чудесную книгу „Сестра моя жизнь“. И рассказывал об этом на языке, как будто темном, косноязычном („денационализированном“!), но на самом деле, — мудро-сжато, наивном и лишенном ухищрений и сомнений утонченно-культурной „фаустовой души“.

При чтении его стихов брежится, будто некая „большая энциклопедия“ человеческой культуры, с неподкупающей естественностью братается с „огромными садами“, „грозою одуренной влагой“, „осторожными каплями“ дождя, „пугливыми щеглами“, „вздыхающими ковылями“. Отсюда — неожиданности пастернаковских рифм: эпиграф-тигров; хохот-стафилококов; мамонтом-безграмотно. Также неожиданным и все образы его поэзии:

Имелась ночь. Имелось губ  
Дрожание. На веках висли  
Брильянты, хмурясь. Дождь в мозгу  
Шумел, не отдавая мыслью.

или

И всем, чем дышалось оврагам века,  
Всей тьмой ботанической разницы,  
Пахнет по тифозной тоске тюфяка,  
И хаосом зарослей брызнется.

Биографических данных о поэте — пока что очень мало. Но недавно, в „Звезде“ ( за 1929 г.) появились ин-

тересные воспоминания самого Пастернака. Он серьезно занимался музыкой. Его музыкальность была отмечена Скрябиным — Он прошел строгую школу германской философской мысли в Марбурге. У него обширные познания в области мировой литературы. А среда, взрастившая его — интеллигентская, московская. Однако, Пастернак еще и до революции нашел свой собственный, совсем особый путь, несродный традициям и быту старой русской интеллигенции, а также лейт-мотивам, господствовавшим в тогдашней литературе. Быть может, поэтому, — в суровые годы военного коммунизма, он и смог так хорошо дружить с зеленым, влажным „богом деталей“, — деталей, сдвинутых, взерошенных и изумленных в ожидании задач новой живой жизни.

Такая, нечаянно-открывшаяся реальность, запечатленная в „Сестре Моей Жизни“, (отчасти в „Темах и Вариациях“),

заразительно-здоровая. Она — озонирует удивленную душу. И удивление это, сперва нелепое, обидное, враждебное, (дескать-как это смеет „жизнь житьствовать“, когда столько смерти), — незаметно и произвольно становилось новым и обновляющим приятием жизни. Оттого и удивителен—удивляющийся Пастернак, бросивший нам классическую книгу бодрого изумления в потрясенном мире. Что же касается последующих произведений, то все они—и поэтические (напр. поэма „1905 год“) и прозаические, (напр. „Детство Люверс“), — кажутся исканиями, сравнительно с животрепещущими откровениями „Сестры Моей Жизни“ и „Тем и Вариаций“.

О Пастернаке теперь написана целая литература, как за рубежом, так и за проволокой. И, кажется, он начинает все меньше отпугивать широкую публику

*Ю. Иваск.*

## Гайто Газданов. „Вечер у Клэр“.

Роман Газданова, „Вечер у Клэр“, имеет в себе неясную, но несомненную раздвоенность, вытекающую из двух разных взаимоотношений стиля и материала. Тема романа — история роста человеческого сознания и пересечения его духовных маршрутов с великой распутицей революции. И вот, на всем протяжении романа происходит непрерывная борьба очень интересной, психологической темы с автобиографическими, добросовестно подробными к ней комментариями — происходит сочетание двух линий — литературной и жизненной — которое создает своеобразный стилистический диссонанс: одним и тем же языком рассказывается о вещах, между собой несоизмеримых и враждебных. Об'ективно этот язык отчетлив, спокоен и изысканно прост, и там, где его точность заставляет оформляться неясные и смутные душевные состояния, где его точность служит для описания неточного, роман достигает наибольшей остроты и напряженности. Так роман начат, так сделан весь заключительный эпизод с Клэр, так

рассказано о детских созерцательных настроениях героя — и эти страницы — лучшие страницы романа. Но где-то в романе уже намечена та точка, о которую разбиваются ритмы его развития, которая ломает и дробит восходящую линию его нарастающей психологической темы, — в этой точке, основной, очень чистый и верный тон повествования нарушается интонациями слишком неторопливыми и традиционно задушевными. Неизбежно, в силу автобиографичности своего повествования, Газданов приходит к тому моменту, где скелет его темы начинает сбрасывать мясо бытового материала, и здесь роман превращается в неторопливые записи о детстве и отрочестве.

Тот неверный, сложный и таинственный рост человеческой, крепнущей души, который единственно мог бы связать отдельные его куски в какое-то стройное целое, все меньше и реже занимает автора, и хронологическая последовательность в смене действующих лиц романа заменяет отсутствующую органическую

непрерывность его развития. Пожалуй в этом самое слабое место романа: в нем есть какое-то внутреннее движение, какая-то неровная и непостоянная напряженность, в нем действуют, сталкиваются и накапливаются какие-то силы, но в том месте, где вы ждете их разрешения, этого разрешения не происходит. Даже испытанный и уже не оригинальный прием с перестановкой заключительного эпизода в начало романа, долженствующий дать роману напряженность predetermined развязки, не достигает цели и не скрывает основной его слабости — отсутствия сюжетного стержня. Стоит вернуть этот эпизод на его естественное место, чтобы стало ясно, что он не собирает в себя всех нитей повествования, что внутреннее движение романа остается не использованным и силы распыленными. Этот прием не хорош еще тем, что он раскалывает роман на две неравноценные части, очень искусственно между собою связанные. Вечер у Клэр, обладание, случайные и отрывочные мысли о любви, о печальном ее завершении, о детской своей впечатлительности — и волей автора расплывчатые, нечеткие мысли собираются в какие-то последовательные логические ряды, и странным и произвольным образом из горчичного зерна случайного настроения вырастает длинный, очень обстоятельный и реальный рассказ о детских и юношеских днях героя. Но если в первой части романа торжествует прекрасная органичность материала и стиля, то во второй, главной части, происходит странное и досадное распадение вещи на неравноценные куски — и примитивный прием календарной закономерности только подчеркивает спорность материала.

Тема, которая, казалась главной, — возникновение из детских предчувствий сложного и всеобъемлющего сознания, — отодвигается куда-то в сторону, начинает светиться отраженным светом, в центре же оказывается коробка с негативами детства — и вот бережно, внимательно и любовно память Газданова начинает прояслять темные стекла воспоминаний. Рамки романа раздвигаются, чтобы вместить в себе длинную вереницу литературных статистов, но раздвигаются все же не настолько широко, чтобы живописное и пестрое многообразие случайных действующих лиц можно было бы рассматривать, как воплощение истори-

ческой среды и определенной эпохи. Соблюдены все законные для оглядки на прошлое пропорции — рассказано о семье, о школе, о товарищах, выведено несколько обязательных, более или менее удачно стилизованных типов — в результате беспокойное и живое пламя творческого вдохновения оказывается трансформированным в теплый уют камина, вокруг которого собираются безобидные тени минувшего.

Именно здесь, когда в голосе Газданова начинают доминировать медлительные интонации мемуариста, обнаруживается вдруг, что его точный, спокойный и прозрачный стиль, приложенный к такому же точному и конкретному, вещественному материалу может оказаться мало выразительным и не оригинальным. Отец, который всегда опаздывает на поезд и два года лепит из гипса карту Кавказа, художник с петухом в кармане, острослов и балагур инженер Белов, питающий тайную и трогательную нежность к музыке — при всей неповторимости своих обликов они производят впечатлительные героев, взятых откуда-то на прокат. Есть живые черточки и одушевленная гибкость в образе дяди Виталия, скептика и романтика, но и он дается тоже в довольно традиционном аспекте — умный неудачник, обладающий необыкновенной эрудицией в вопросах искусства, философии и социальных наук и однообразной привычкой говорить афоризмами и парадоксами.

Отдельные тонкие наблюдения, списания природы, редкие возвращения к основной психологической линии — все это не в состоянии, вывести роман из тупиков случайного человеческого быта. И только совсем недалеко от конца, в образах беспокойного, обреченного Севастополя, появляются прежние крепкие и нужные слова. Конец романа утверждает неустойчивость и случайность его архитектоники — попросту говоря, он отсутствует. И даже вспомнив, что в романе, между прочим, говорится о нескольких встречах героя с Клэр, и обратясь к заключительному эпизоду вечера в Париже, нельзя согласиться с тем, что это разрешение вторичной по существу сюжетной линии является настолько глубоким и значительным, чтобы его можно было отнести ко всему роману.

Но художественная убедительность романа, как целого, не скрывает острой и бесспорной талантливости автора. Преодолевая неподвижность материала, силой стилистического сцепления соединяя его разнородные части, в романе живет и ощущается та творческая динамика, которая определяет подлинное литературное вдохновение. И если она недостаточно пропорционально и равномерно распре-

делена по протяженности романа, то виною этому прежде всего сложность и ответственность автобиографического жанра — трудно при столкновении требований художественной выразительности с личной значительностью пережитого разрешить его достаточно убедительно.

Герман Хохлов.

Прага.

## Арт-Виктор.

1.

Согласно разведке, центральное течение Стикса определено на  $38^{\circ} 50'$  широты. Долгота —  $22^{\circ} 20'$ .

Снаряжается экспедиция.

2.

Руководит экспедицией Арт-Виктор. Его лицо желто; в ушах серьги с сапфирами. Глаза его серы — он решителен. Как легка его поступь! Он разбрасывает складки плаща, когда ходит.

Арт-Виктора знают все! Он смел, — с ним можно отправиться — да, безусловно. Нечего бояться. Он хороший руководитель. Он хороший руководитель, безусловно.

3.

Танки готовы — восемь. Спуск на двенадцать километров в шахту.

В гусеничных тракторах — припасы. Технически — экспедиция блестяща: взято до радио-телефонов включительно; понтоны, моторные лодки, прожектора. Артиллерия достаточная.

Ходкость танков также достаточная. Противогазы, кислородные маски, огнестойкие костюмы взяты на всех.

Экспедиция снаряжена серьезно; Арт-Виктор и авантюра — ха-ха! — немыслимо!

Люди садятся. Арт-Виктор на разведывательном танке во главе. Спуск по одиночке на стальных платформах.

Как гудит, убегая, трос. Как темнеет кругом!

Один километр, два километра, три. Падение три километра в минуту. Четыре километра, пять, восемь. Двенадцать километров — танк входит в станционный зал.

Двенадцать километров земли над головой — да, тяжесть!

Стальные столбы — много, много — в спрессованных до блеска стенах. Воздух тяжеловат: вентиляция не дорабатывает. К северу дыра туннеля — ворота экспедиции: черный провал в земле — глубоко, глубоко.

По расчетам в тридцати километрах Стикс.

Танк в колонне, Арт-Виктор головным. Отправляются.

Прожектор показывает срезы туннеля. Гул большой — внизу. Возможен обвал. А! вперед, вперед!

4.

Харон сдался без сопротивления. „Руки вверх!“ — кончено. Что разговаривать. Старичек испуганный, притом заика.

Посадили в тыловой танк; взяли и лодку — хоть дырявая, но для трофея. И сфотографировали на случай смерти.

Остановились у берега. Стикс черен, неподвижен. Глубина, видно, большая. Гладкая вода — гладкая — уходит в темноту, края не видно.

Прожектора скользнули, обозначили другой берег. Далеко, далеко — в темноте, впереди. Прожектора пошли обыскивать черный свод. Навис, черный!

Река уходит — вправо и влево, вверх уходит свод;

И все в темноту.

Арт-Виктор, вперед! Арт-Виктор стоит у самой воды, в руке фонарь. — „Спустить лодку!“ „Есть!“ — черные человечки бегут — лодка спущена. Волны расходятся кругом, чуть бьют о плоский берег.

Семь человек и пулемет в лодке. Арт-Виктор сам в лодке. Он молодец! Мотор рокочет в потемках. На берегу беготня с фонарями. Проектора, фонари, мотор стреляет.

### 5

Стикс кругом, неподвижный и черный! Иногда свод спускается на сажень от воды.

Мотор трещит. Лодка идет ровно. От носа волна — тяжелая, как масло: черная, поднимается медленно, не брызжет. Сзади огни, впереди темно. Вправо, влево — темно.

Чорт знает, даже страшно! — широкая, широкая вода, гладкая, как стол, придавлена сводом.

Но руководитель не боится. О, — Арт-Виктор ничего не боится. Он стоит на носу, глаза серы.

Дальше, вперед. Все вперед.

### 6

— „Стой!“ „Камни!“ — Вышли на берег. Берег каменистый, недалеко стена свода. Арт-Виктор, семь человек, пулемет, темнота. Светят ручные фонари.

— „Где же вход?“ — „Вот пещера“.

— „Не туда, здесь, здесь“.

— „Правильно ли?“

В руках маузеры и фонари; пошли.

Черный корридор. Ноги спотыкаются — камни неровные. Узко идти, приходится гуськом.

Эх! Ну и потемки!

Навстречу белая фигура. — „Кто идет?“ „Стой!“ — „Кто такой?“ — „Стой!“ — Трах-та-та: револьверный выстрел. — „Что, упало?“ — „Ничего“. — „Где же?“

— „Нет ничего“.

Идут дальше.

Проход узкий. Идут, идут.

Блеск впереди. Что такое? Поворот туннеля вправо, слева на стене отсвет. Осторожней. Подошли. Вправо прямой

широкий корридор, в конце огонь — метрах в двухстах. „Тише, пулемет сюда“.

Арт-Виктор выходит с затушенным фонарем. Пошел к огню. Семеро остались у пулемета. Видно: огонь впереди, а что такое — не разберешь, тихо; фигура руководителя движется к огню. Остановился. Пошел назад.

— „Ну, что?“ — „Цербер!“ — „Вот! А?“ — „Спит“.

— „И три головы?“ — „Не видно“. „Чорт! Что же делать? Возьмем в пулемет?“.

Арт-Виктор: „Тише, разбудите. Подойдем тихо. Трое у пулемета, другие со мной вдоль стен. Приготовить ручные гранаты. Тише“.

Идут. Близко уже. Видно — лежит, лохматый, шерсть длинная, три головы — одна под лапой, две на камышке, рядом. Пасть открыта, светится.

— „Приготовится“. — „Эх, скользко“. — „Осторожней. Без команды не стрелять“.

Шагов пятьдесят. „Стой. Спит?“ — „Кажется спит“.

— „Нет, глаза открыты“. — „Спит“.

— „Ай“ — трах! „Что такое?“ Поскользнулся один. Камни сыпятся, треск.

„У — у!“ — короткий вой и вдруг все залито огнем.

— „Ложись“. „Стреляй“. „Назад“. Трах, трах, трах — выстрелы. „Назад, назад!“ Огонь, все в огне. Опаляет, жжет, скорей назад.

— „У — у — у“ — вой оглушающий. „Та-та-та“: заработал пулемет. Новые волны огня. Назад, назад!

Вот, за углом, наконец! Ну, легче!

— „Сколько человек?“ Три пулеметчика, руководитель, еще один, еще один. Двое остались там. Вот проклятая гадина! „У — у — у“ — переливчатый вой — там, за углом.

— „Ничего, он на цепи, не догонит“.

Руководитель ранен. Лицо посветлело, рот скривлен.

„Отойдем к реке. Вызовем танки“.

Вот оно, сразу же неудача.

### 7

Танки переправлены. Грохот и стон, входят в туннель. „Пройдут ли боль-

шие?" „Пройдут. Если нужно подорвем, расширим". Гусеницы скользят и барабанят о камни. Грот, шум, крики. Проектора нестерпимо бьют в глаза, суета. Ползут четыре легких, пятый тяжелый в хвосте. Впереди пушечный. Тракторы пойдут после. Три машины остаются у берега — прикрывают переправу.

Тр—р—р грохочут гусеницы по камням. Гул по всему туннелю. С лязгом качаются танки и задевают стены.

Ну, и экспедиция!

Впереди уже слышно: „У—у—у“.

8.

Вышли к углу. У—а, у—а! лай уже, а не вой.

— „Прицел ноль, трубка, картечь, три патрона“!

Щелкнул пушечный затвор. — „беглый огонь“! Тра-ра, тра-ра, тра-ра! — три удара. Ра-ра ра — эхо.

Треск летящих камней, грохот, все рушится. Весь проход в тумане.

— „Ну, что, как?“ — вой замолк. „Проход обрушился?“

— „Нет, только камней побилось“. — „Как собака?“ — „Не слышно. Огня тоже нет“. — „А опалило здорово?“ — „Ничего, только стенки нагрелись. Ну, да в танке не очень-то проймешь!“

Арт-Виктор командует. Медленный ход вперед. Впереди чуть светится, ничего не слышно. Ближе, ближе. Стой. „Здесь — лежит Цербер. Разнесло в клочья. Одной головы нет — шрапнельным стаканом сорвало; две другие здесь, пасти открыты, из них кровь. — „Здорово хватило!“ „Весь живот выворочен“. „Так ему, гадине и надо!“

9.

Вход расширяется — зал. Метров пятьдесят в диаметре, круглый. Высокий свод. В глубине монументальное седалище — надо думать, трон.

— „Где же они? Все разбежались?“ — „Чорт их знает, видно живот заболел“. — „Ну еще бы: всю жизнь здесь с покойниками нежились, а тут вдруг на тебе, целый бой под самым ухом“.

— „Куда же это они?“ — „Осмотреть зал“.

Арт-Виктор подходит к трону. Сооружение массивное, со всякими колонками.

— „Нечего сказать, вид представительный“.

Подбегает солдат, докладывает: — „Плутона поймали“.

— „Где? Путаешь?“ — „В короне и с бородой“. — „Он ли? Веди сюда“.

Подводят Плутона. Видно перепугался, но храбрится; человек пять его ведут; пробует вырваться.

— „Вы кто такой?“ — „Что-то бормочет быстро, хмурит брови, кричит; только челюсть прыгает.“

— „Говорите, кто вы такой?“

Старик лепечет. Говорит быстро — ничего не понять. Как будто язык древнегреческий, только с ошибками.

— „Да как же вас зовут, наконец?“

— „Гадес, царь подземный“. Опять волнуется, требует чтобы за локти его не тянули.

— „Ну, посмотрим, потом поговорим. Посадить к Харону“.

Сунули старика в танк. Сперва не хотел входить, фасон держал. Когда всадили и дверь защелкнули — начал плакать. Жалкий старичишка!

10.

— „Никого больше нет?“ — „Никого, видно разбежались“.

— „Садись, вперед“. Из зала сквозь узкую щель выходят в широкий корридор. Все темно, по прежнему.

Арт-Виктор смеется. — „Ну, пока противник-то не очень боевой. Посмотрим, как с мертвецами справимся“.

О, Арт-Виктор молодчина; с ним и на мертвецов не страшно!

Все смеются. И потерь-то всего два человека.

11.

Корридор все расширяется. Стены уходят вправо и влево. Пол становится ровнее, камней больше не чувствуется.

Кажется, скоро и сам Тартар.

— „Капитан Марк, подошли тракторы?“ — „Подходят“.

„Бензина достаточно?“ — „На триста километров запас“.

— „А как с консервами?“ — „Хватит“. „Тогда, что-ж, ну!“

12.

Вторые сутки идут. Стен давно нет. Сверху тожа ничего не видно. Темно а солотно. Справа и слева какие-то голые бугры; круглые, гладкие, невысокие; все одинаковые. Земля черная, влажная; легкий туман все время; очень сыро. Проектора дальше, чем на двести метров тумана не пробивают. Никого не видно. Изредка только на бугарах маячат какие-то фигуры. Свернут на них, она скроется.

Арт-Виктор хочет до противоположной стены дойти. Это бы не дурно, да как-то страшновато. Уж очень голо кругом, хоть бы деревцо захудалое, — ничего! А главное — черно, все черно. Сколько дней ничего кроме фонарей не видишь.

13.

Взяли пленного. На бугре сидел, совсем близко, шагах в двадцати. А чуть не прозевали: сидел неподвижно.

Схватили, подвели к огню.

Мущина; не старый; лицо бритое; морщины. Глаза смотрят тупо. Стали расспрашивать. Молчит. Глаза ничего не выражают. — „Ну говори же ты!“ — Молчит.

Дали пинка, покачнулся и снова стал. Ничего не говорит. Лицо все такое же. Смотрит и не моргает.

— „Ах ты, чортов сын! Ну что с ним делать?“

— „Да что же, пусть идет. Что с ним возиться, покойник ведь!“

14.

Дальше и дальше. Все темно и бугры. Команды начинают волноваться. Еще один день и тогда уж непременно сворачивать надо, а то бензина не хватит. Да и найдешь ли еще сразу выход.

Арт-Виктор нервничает. Слишком все скучно. Надо же хоть трофеи какие-нибудь взять. А то — Харон, да царь какой-то плюгавенький; и то едва-едва живы.

— „Как старики?“ — „Ничего, сидят тихенькие. Харон спит все время, а царь в угол жметя, и только ест много. Впрочем, как-будто дружить стали. Разговаривают иногда“.

Все дальше и дальше. Чаше обитатели видны стали. Иногда целыми вереницами ходят и поют, как будто.

Тихо совсем. Схватят их, приведут — смотрят они идиотами и молчат. Совсем покойники, только что ходят.

Надо сворачивать, все равно ничего не добьешься.

15.

Наткнулись на пещеру. Круглая, темная дыра, просто в бугре впадина, края сырые. Послали разведку. Ничего особенного, пусто; только двух человек привели: старика и женщину. Арт-Виктор вышел допрашивать. Старик высокий, лоб торчит вперед, борода до пояса — видимо философ или математик какой-нибудь. Заворочен в какую-то хламиду.

Женщина молодая, красивая. Пожалуй, даже очень красивая. Глаза узкие, стеклянные; не мигая на прожектор смотрит, на десять тысяч свечей. Волосы скручены на затылке, руки голые. И как ей не холодно в сырости этакой!

— „Кто вы такие?“ — молчат.

Арт-Виктор смотрит на женщину. — „Попросите сюда доктора“. — Пришел. — „Осмотрите их. Оживить нельзя-ли?“

Доктор выслушал. Пульс есть, но очень слабый. Дыхание тоже как-будто уловить можно. — „Нельзя ли искусственное дыхание попробовать?“ — Постелили что-то, положили женщину. Старика руководитель приказал в танк — к Плутону.

Отослали всех, остались доктор, фельдшер и Арт-Виктор.

Около головного танка под прожектором искусственное дыхание делают.

Тоже нашли себе занятие!

16.

Руководитель решил расположиться у пещеры на несколько дней. Больная подавала признаки жизни. Руководитель надеется получить от нее ценные сведения.

Доктор размечтался. Заговорил о сомнамбулизме и о какой-то долговременной материализации. О пара-физике и мета-психике. Вспомнил Крукса и Рише. В конце концов запутался и перешел на фразы общего характера.

— „Если нам удастся получить какие-либо сведения о жизни сознания после смерти, это будет ценнейший вклад в общую психологию. Кроме того это интересно с других точек зрения. Но больной нужен прежде всего покой. Взять ее сейчас в танк невозможно“.

Женщину перенесли обратно в пещеру. Устроили даже с комфортом. Доктор и фельдшер, по очереди у нея дежурят. Арт-Виктор тоже что-то сильно заинтересовался — ходит к ней каждый час.

Отряду приказано расположиться на отдых.

Какой, к черту, отдых, когда покойники кругом бродят и сыро, как в могиле. Вклад в психологию! Все это хорошо, да только консервов не так уж много осталось; да и бензину на один переход сколько уходит! Сворачивать пора!

17.

Три дня прошло. Мертвецы-гирляндами. Дефилируют. Иногда по ним со злости из пулемета ктонибудь хватит: исчезнут, а через час опять бродят. Поют что-то, тоску нагоняют.

Больная, передаю, уже говорить немного начала. Есть просит. Что-то еще будет!

Арт-Виктор, кажется, совсем к ней переселился.

Влюблен он, что-ли?

18.

Пора домой. Шесть дней прошло — есть скоро нечего будет.

Снаряжается к руководителю депутация, — команды требуют возвращения домой.

19.

Арт-Виктор вышел. Желтый, глаза сощурены.

— „Команды требуют выступления. Остаться дальше невозможно“. — „Через два дня мы тронемся. Я отвечаю за все“. — „Команды не желают умирать из за ваших амурных походов. Команды требуют...“ — „Вон отсюда!“ — „А, так-то! Хватай его!“ — „Что, бунт?!“

Трах! — Арт Виктор ст, еляет. — „А, а, а“ — один падает.

Трах! второй выстрел — но уже никого нет.

Вот, черт, поговори-ка с ним!

20.

Команды в полном сборе. В руках револьверы. Танк наводит пулемет. Подходят к пещере. Шум и крик.

Выходит Арт-Виктор.

— „Если сейчас не будет отдано распоряжение о походе, мы тронемся сами“.

Арт Виктор молчит. — „Консервов осталось на три дня“.

Арт-Виктор: — „Подождите“. Он уходит в пещеру.

Зачем он? Он идет снова. О!—с ним идет гречанка.

Он ведет ее под руку. Она бледна, она улыбается.

Так она, правда, жива!

Она говорит. Что она говорит? Уж очень тихо — не разберешь. Она говорит: — „Подождите до завтра. Это мой жених. Завтра мы тронемся“.

Вот так штука! Придумали тоже! Ну, еще один день, куда ни шло.

21.

Ночью прибегает фельдшер. — „Она умерла“.

— „Как, почему?“ — „Не знаю, не знаю. Все было хорошо. Вдруг опрокинулась. Похрипела немного, оскалила зубы. Теперь лежит, не движется.“ — „Никакой надежды?“ — На этот раз, уж видно окончательно. И пульса больше нет“.

— „А руководитель? — Сидит около нее; губу прикусил“.

— Ну, дела! Что-то будет?“

22.

Руководитель приказал созвать отряд. Вышел из пещеры—глаза серые, прямой.

— „Капитан Марк!“ — „Я“. — „Вы принимаете отряд и немедленно выступаете в обратный путь. Все сведения о пути вы получите у адъютанта“. — „А вы?“ — „Я остаюсь здесь“. — „Это невозможно“. — „Я решил“. — „Мы не можем этого допустить“. — „Я прошу вас исполнить мои приказания“. — „Вы передаете мне командование отрядом?“ — „Да“. — „В таком случае я новый руководитель! Я приказываю вам следовать за нами“.

„Я не исполню вашего приказа́ния“. —  
— „Мы возьмем вас силой“. — „Попробуйте!“ Арт-Виктор достает револьвер. Никто не подходит. Арт-Виктор уходит в пещеру.

— „Он сумасшедший! Надо взять его“.  
— „Возьми-ка! Он всех перестреляет! Сунься только!“

— „Ну, так чорт с ним. Пускай остается. Не гибнуть же нам с ним“.

— „По танкам!“

23.

Танки шумят. Тронулись. Фельдшер рассказывает; он забежал в пещеру за инструментами. — „Сидит около покойницы. Я спросил, не раздумал ли он. — Ничего не ответил. Взгляд стеклянный. Скоро тоже окостенеет.“

Погиб человек, ничего не поделаешь. Что-ж, сам виноват. Дурак!

24.

Два дня искали выхода. Консервы кончились. Чуть с голода не погибли.

Но, к счастью, нашли. Марк тоже не плох. Конечно, не Арт-Виктор — куда ему, тот сразу бы вывел. Дошли обратно спокойно. Только Харон утонул. Чорт его знает как ухитрился из танка вывалиться.

А царя и старика, которого с гречанкой нашли, благополучно доставили на землю. Только старик-то при дневном свете мертвым оказался. И шевелиться даже перестал. Вскрыли его — ничего интересного. Все нормально, только вышло совсем.

Плутон комиссией признан слабоумным. Посадили его в лечебницу. Старческий идиотизм. Что-ж, он ведь все равно не долго протянет: такой уж старенький, что дотронуться страшно.

А руководитель так и остался сидеть со своей невесточкой. Небось жутко одному-то в потемках.

Ну, да сам виноват.

*К. Гершельман.*  
Немнэ.



Иванов день, о день огня,  
День торжества золотого солнца!  
На небесах горят червонцы  
Неумирающего дня.

Костры сегодня ночью жгли,  
Цвет папортника разгорался,  
И рыжий чорт, огонь земли  
С огнем небесным повенчался.

И потому мечта небес,  
Неизъяснимых дум волнение,  
В тяжелое земное упоенье —  
Ворваться отблеском чудес  
Готова каждое мгновение.

*Н. Рудникова.*

## Трое в одной комнате



Ты — рядом...  
Но почему ты чужой?  
Черным нарядом  
Грустит силуэт тонкий мой.

Не надо... не надо  
Мне думать о том, что прошло.  
Лучше забвенья отрадой  
Наполню высокого кубка стекло.

Приникну... и ядом  
Пахнет от мысли больной!  
Но почему же ты рядом?  
И почему ты — чужой?

1928.



Засмеялась ночь нескромная у открытого окна —  
У меня тоска любовная уже с раннего утра.  
Тело ждущее приковано грудью к круглому столу  
Почему любить рискованно? — вот чего я не пойму.

1929.



Можно целовать неотвечающие губы;  
Можно не смотреть в суровые глаза;  
И — тихонько отогнув холодный ворот шубы, —  
Попросить для сердца капельку тепла.

1930.

*Ир. Бор.*

## Трое в одной могиле.

— „Жизнь наша, как пустая бытылка“ ..

Поворачивает Художник, горлышком книзу, пощелкивает по донышку желтыми ногтями.

— „Запах есть, а содержимое выпито“.

Перекидывает Андрей взгляд на Доктора, в роговые очки совиные, — а глаза у Андрея — синие шарики, блестящей слюдой прикрытые.

У Доктора ползут лучики веселых морщин под роговую оправу, рукой поглаживают выбритый подбородок, посмеивается словно в бороду.

— „Когда Художник философствовать начинает, — пьян значит — ...выпито!“

— „И по этому случаю выпьем!“

Пьют.

Как обычно, у Андрея, в узком чердачном гробу, на окраине города.

Трое в одной могиле, не считая водки. Традиционно.

Послезавтра начнутся занятия. Пойдет Доктор по клиникам у больных языки рассматривать, в анатомикуме покойников науке на ползу крошить, по лекциям у профессоров подремывать.

А Андрей — днем по лабораториям анионы и катионы в задачах выискивать, объемы вычислять, формулы выписывать. А вечером — по урокам, — панели подшвами отщелкивать.

Послезавтра.

А вчера только кончил он работу на лесопилке. Все лето мозолил Андрей сильные руки о шершавую кожу досок, шурился прикрывая синие глаза от расплавленного в желтом дереве солнца, раздувал ноздри терпким дыхом смолы — крови сосновой.

Вчера. И послезавтра.

А сегодня, значит, можно встряхнуться. Переход от рабочей жизни к интеллигентской отпраздновать.

— „Прозит!“

— „Поехали!“

Андрей опрокидонтом: — кувырк — и обратно пустой стаканчик на стол.

Доктор, тот понемногу: глотнет с четверть, на свет проверит и селедкой старательно меж зубами похрустывает — не любит, чтоб на завтра головная муть.

А Художник выпьет, на хлебную корочку подышет, и по пустому стеклу ногтями, — напомним:

— „Наливай, Химик! Чорт с ним, с Доктором — пьет точно лекарство: через час по чайной ложке!“

— „За что же выпьем?“ спрашивает Андрей.

— „Не важно, за что. Пить чтобы пить. Душу выкупать“.

А уж пальцы у Художника, — будто чужие кто на руку нацепил. И рюмка, дьявол, упирается, — на аркане ко рту тащить приходится.

И еще — в сырую погоду, как нынче, начинает ныть плечо, где побывала в гостях незваная красная пуля.

Было так.

Метался он в пулеметном отряде белогвардейского генерала Булак-Балаховича, от Пскова на Остров и обратно, от Гдова на Псков и обратно.

Семь лет назад.

Вспоминает в мокрую погоду.

А климат то здесь сырой, акварельный.

Уехать бы куда — да черта с два — с волчьим нансеновским разве еще на тот свет дорога открыта.

Так и живет.

Когда что порисовывает.

Стены в ресторане.

Плакат рекламный.

Картину какую продаст меценату из местных евреев.

Так и перебивается: с хлеба на водку..

— „Выпьем, Андрей!“

Когда и вторая бутылка — печально пуста, Художник засыпает нездоровым сном на жесткой постели Андрея, лицо — смятое полотенце.

Андрей и доктор еще за столом.

Пиво.

— „А Художник-то сдавать начинает. Помнишь, сколько раньше выдерживал?“

Доктор поднимает очки совиные, круглые:

„Стареет, ничего не поделаешь. Может и прав он, что от жизни у него один запах остался, все у него там — в прош-

лом, в России. А здесь, здесь, знаешь в тридцать лет трудно за новое ухватиться.

— „Ничего не поделаешь, закон Дарвина — слабые вымирают. А вы, эмигранты, на чужой почве, конечно, самые слабые!

— „Так, так, Доктор“, — кидаются в ответ синие глаза Андреевы, — „мы то верно на чужой почве. А ты, ты эстонец, на родине, оптантом прибыл. Однако как лучше говоришь — по русски или по эстонски? Отец у тебя профессор, — раньше в России немцем писался, а теперь эстонцем сделался — кандидат в Государственное Собрание от земледельческой партии. Он тебя в эстонскую корпорацию посылает, — патриотическому духу приобщает, а ты в русское студенческое общество ходишь, доклады о русских писателях слушаешь. У нас то хоть там, за проволокой, дом есть, а ты...“

Усмехается Доктор.

А по губам не разобрать — не то печально, не то насмешливо.

— „Может быть, может быть, ничего не поделаешь... А помнишь Андрей сестру? — с тобой русскую гимназию кончала. Был я у них летом в Ревеле. Муж в министерстве служит, еще отец помогает, — живут хорошо. Так вот заговорил я с нею, как дома, по русски, а она на меня удивленно — и по эстонски: „Говори у нас пожалуйста на родном языке: Артур не любит“, а помнишь, какие в гимназии рефераты откатывала о Достоевском?“.

„Помню“, говорит Андрей — Тот год у меня, Доктор, из памяти не вышибешь. Крепко засел. А было мне семнадцать — в последнем классе. Жили мы с матерью вдвоем — отец еще в германскую войну где-то под Перемышлем остался. Жили вдвоем, продавали последние вещи, — все ждала мать — гимназию кончу. Да не дотерпела маленько, — в марте за отцом отправилась. Ну, остался один, без денег, — в обрез только на похороны хватило, — без подданства, что волк в лесу. Думаю, гимназию то кончить надо. Начал уроки давать. Вот с сестрой твоей математикой занимался и с тобой тогда познакомился.. Так оно с тех пор и пошло: зимой уроки, ученье, летом — лесопилка...“

Давно это было.

Лет пять...

Рабочих, выносливых лет.

И смеется Андрей, поводит широкими плечами.

— Вот, доктор, тяжело было... да, видишь, выдержал, не пропал. Закалился. Попробуй ка теперь, — сломай. А, ну-ка жизнь“!

Засучивает Андрей рукава.

Руки в кулаки, голову в плечи.

Будто, — с жизнью на мат.

Как двинет кулаком, — knock-out.

— „Верно, Андрей, у тебя и душа как мускулы, — стальная. За твое здорovie“!

Звякают стаканчики, — напутствуют искристое пиво в последний путь.

А пена то, пена.

Уж и у Доктора в глазах что-то! Будто кто дыму табачного на очки наклеил. — То-ли Андрей курит много?

А Андрей, — Андрей ничего. Иногда только комната, — нет, нет, да и поплывет, — чорт ее знает, куда. А Докторское лицо растянется, скосится, исчезнут куда-то толстые губы скобками, потеряется в неизвестности широкий нос с загогулиной — только очки круглые совиные, стекла толстые выпуклые — вот и весь Доктор.

И тогда встряхивает Андрей упрямой головой, вдавливая в десна крепкие зубы, впивается ногтями в ладонную мягость.

И снова, ничего, будто бы.

Привычно.

Не новичек Андрей по пьяному делу.

— „Помнишь, Доктор, пили мы с тобой первый раз в день моего выпуска у пана Новицкого. Там и Художника нашли, — сладили. Оттуда оно и пошло.“

Трое в одной могиле, не считая водки.

Художник, Доктор, Андрей.

Почему Художник? — Художник, понятно. Имя у него, — что то вроде затхлых мощей — не то Варсонофий, не то Порфирий.

А вот почему Доктор, когда Дмитрий?

И давно уж.

— „Ты тогда еще первый год только студентом числился, а уже тогда тебя все — Доктором. Иначе и не звали! Солидность. Ты и тогда, как две капли водки — такой же был небольшой, круглый, очки что у филина, а говоришь, словно пряжу разматываешь, — ровненько. Так и есть, — Доктор“.

Звякают стаканчики, напутствуют искристое пиво в последний путь.

А пена, то пена.

Поворачивается Художник на постели Андреевой.

Судорожным кашлем в пустой потолок, — крышку гробовую, — гык, гык, гык.

Сплевывает прокуренную слюну.

Скидывает ноги с кровати.

— „Черти“, говорит, „никак все пиво вылакали!“

„Есть еще порох в пороховницах“, Андрей хлопает пробкой.

Позвякивают стаканчики.

Причмокивает Художник:

— „Пиво после водки — лак после краски, и для блеска и для сохранности“.

А пена, то, пена.

*Борис Вильде.*

Юрьев.

## О **вспрыскивании спермы в организм высших животных.**

В настоящей заметке я хочу сказать несколько слов по поводу вопроса, могущего представить интерес для читателя, не чуждого биологии. Я имею в виду результаты опытов с **вспрыскиванием сперматозоидов в мужской и женский организмы высших животных.**

Читатель, конечно, не будет отрицать величайшего значения для разрешения теоретических проблем подобных, на изнанку выворачивающих экспериментов, заставляющих явление протекать в ультраискусственных условиях.

Читатель, ознакомившись с рядом популярных трудов И. И. Мечникова, знает что толстая кишка у человека и высших животных — очаг непрерывного гниения, постоянный снабдитель организма ядовитыми продуктами этого процесса.

Он знает также, что в результате жизнедеятельности — упорной работы маленьких лабораторий, клеток, составляющих ткани — в организме непрерывно циркулируют вредные отбросные вещества.

Ему не раз приходилось слышать о бактериях, отравляющих человека и животных своими выделениями.

Громадная работа, которую организм совершает для образования половых элементов — яичек и сперматозоидов, — ему очевидна. Она пропала бы даром,

если бы эти клетки не защищались специальными приспособлениями организма от постоянно присутствующих в крови токсинов.

На это обстоятельство уже в 1900 — 1901 году указал профессор С. Метальников, которому рядом интересных опытов удалось найти эти приспособления в мужском организме.

В чем заключается эта защита сперматозоидов, этих нежных и чувствительных к неблагоприятным влияниям клеток, в результате которой они сохраняются внутри семенников живучими и активными, несмотря на токсины?

Если морской свинке, (это относится, конечно, и к остальным млекопитающим) **вспрыснуть под кожу ее собственные сперматозоиды, то ее организм проявит спустя известный срок резкую реакцию.**

Он будет вырабатывать вещества, убивающие эти ненужные здесь элементы. Эти вещества, сперматоксины, некоторое время будут представлять одну из составных частей крови и каждый раз будут немедленно убивать примешиваемые к ней сперматозоиды. Они должны были бы действовать, как сильный яд и на сперму, заключенную в семенниках и известных частях половых путей (epydidimis) подопытного животного.

Однако, последнего не наблюдается. Находящиеся в сфере их нормального местопребывания, развития и возникновения, сперматозойды продолжают жить, в организме, кровь которого содержит сильнейший сперматоксин.

Бесспорно, предохранительное вещество, способное нейтрализовать сперматоксины, должно заключаться в вышеотмеченных частях половой системы самца.

Это было доказано С. Метальниковым, получившим из семенников и особой части половых путей, — эпидидимис, экстракт, немедленно, уничтожающий ядовитые свойства сперматоксинов. Этот экстракт также способен нейтрализовать и другие вредные для сперматозойдов вещества (никотин, хинин и т. д.).

Сыворотка из крови быка или кролика, обычно сразу убивающая сперму морской свинки, прибавлением вышеуказанного экстракта превращается в совершенно безвредную для них среду. Один из нескольких токсинов, выделяемых возбудителем дифтерита, также теряет свои ядовитые свойства по отношению к сперматозойдам под влиянием этого экстракта.

Таким образом, мужская половая железа и известные части мужского выводящего полового аппарата (epydidimis) содержит вещество, выступающее как антисперматоксин. Оно не позволяет циркулирующим в крови многочисленным ядам, даже самым сильным, как например сперматоксин, оказывать губительное действие на мужские половые элементы.

Это заключение проф. С. Метальникова получило в новейшее время яркое подтверждение в ряде новейших опытов W. Quick'a (1926 г.), поставленных совершенно независимо от выше разобранного исследования. W. Quick вспыскивал сперматозойды в организм самца белой крысы, имея целью проследить, оказывает ли подобное ин'екция влияние на развитие и созревание сперматозойдов в семенниках — на т. н. сперматогенез. Результаты оказались отрицательными. Лишь в некоторых случаях наблюдалось образование около половых желез особых цист, природа которых пока исследована мало. В результате вытеснения семенников из обычного положения в мошонке (скротуме), давлением этих цист семенники подвергались известному перерождению.

В большинстве случаев, однако, ин'екции не оказывали никакого действия на сперматозойды, и самец оставался нормально плодовитым.

Этот факт вполне понятен, если принять во внимание результаты опытов С. Метальникова.

Совершенно другой эффект имело ин'екцирование сперматозойдов в организм самки, проведенное Найдичем (1927 г.).

Здесь оно имело последствием временную бесплодность самки, хотя никаких повреждений в развитии яичек и овуляции не вызывало. Оно вызывало своего рода иммунизацию женского организма против сперматозойдов. Сперматоксины проникали с кровью во все соки тела и создавали неблагоприятную для сперматозойдов среду в женских половых путях, где совершается оплодотворение.

Совершенно те же результаты получил M. Cartney (1923 г.) на крысах, где вспыскивание спермы самкам имело следствием бесплодие в течении 2—22 недель. Также куры, которым M. Cartney производил подобные ин'екции, начинали откладывать неоплодотворенные яйца и это длилось в течение довольно продолжительного периода после прекращения вспыскиваний.

Вполне очевидно, какое огромное значение для разрешения целого ряда вопросов практических и отвлеченных, в области медицины и в сфере теоритической физиологии имеют вышеприведенные опыты.

Вопрос о значении избыточных сперматозойдов, входящих в женский организм при оплодотворении и усвояемых им, стоит на очереди. Существование этой резорции (усвоение), не использованной на оплодотворение яйца сперматозойдов, почти во всех группах животного царства, говорит о большой физиологической роли этого процесса. Может быть, вышеописанные опыты смогут в известной степени помочь в отношении разгадки этих явлений. Л. Черносвитов высказывает предположение, что значение избыточной спермы может заключаться в ее иммунизирующем влиянии на женский организм, делая его на некоторое время ядовитым для сперматозойдов. Вероятно, бесплодность проституток может также получить объяснение сходного порядка.

Прага.

К. Гаврилов.

# Имущественное отношение между супругами.

(По проекту Эстонского Гражданского уложения).

В 1923 году при Эстонском Министерстве юстиции была образована комиссия для выработки нового гражд. уложения вместо действующего свода узаконений губерний Прибалтийских.

В настоящее время проект семейного права принят комиссией в третьем чтении. Действующие гражд. законы ограничивают права женщин вообще, а в особенности права замужних женщин. Имея полное политическое равноправие женщина в Эстонии принимает участие в решении вопросов государственной важности. При таком положении вещей является полным архаизмом ограничение ее права распоряжения в своей узкой личной имущественной сфере.

Однако, такие ограничения приняты и проектом. Проект не вносит изменений в правовое положение замужней женщины, не отвечает социально-экономическому положению женщины в данное время и далеко не соответствует основному принципу Эстонской Конституции о равноправии всех граждан Республики.

В основу Эст. проекта изложены действующие ныне в Эстонии свод зак. губ. Приб., Герм. уложение (B. G. B.) и Швейцарское уложение.

Союзом женских организаций в Эстонии было предложено взять в основу проекта законы Скандинавских стран (как известно, действующее ныне в Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии семейное право является попыткой создать право, отвечающее общественно-политической структуре современности).

Это предложение не было полностью принято, но соответственно Шведскому закону были введены §§ 370<sup>2</sup> и последующие, в которых нашел признание и оценку труд женщины, домашней хозяйки, жены, работающей в предприятии, сельском хозяйстве мужа и т. д.

Эти постановления являются нововедением и имеют важное принципиальное значение в правовом положении женщин.

В действующем ныне в Эстонии праве имущественное отношение между супру-

гами определяется целым рядом местных законов.

В Эстляндском городском и земском правах и Лифляндском земском праве господствует система соединения имущества (Gütereinheit). Объединяющим фактором является право мужа распоряжаться и пользоваться всем имуществом обоих супругов, за исключением так называемого отдельного имущества жены.

В Лифляндском городском праве, в праве города Нарвы, в праве по имуществу земского в Лифляндии духовенства, не принадлежащему к потомственному дворянству, в Эстляндском, Лифляндском и Эзельском крестьянских положениях господствует общность имущества (Gütergemeinschaft).

Эти права по содержанию отличаются друг от друга. Так по Лифляндскому городскому праву все принадлежащее обоим супругам, как внесенное при браке, так и доставшееся им в течении брачного союза, поступает в общую массу, из которой пока брак существует никакая часть не принадлежит никому из супругов отдельно. По Нарвскому городскому праву общность имущества дает право на мыслимую половину всей его массы каждому супругу.

В Печерском уезде и в Занаровье действует Общее Крестьянское Положение (Крест. Полож. применяется лишь при жизни супругов. Реш. Гос. суда).

Повсеместно супруги могут по договору устанавливать между собой и другие имущественные взаимоотношения.

Вместо этого пестрого ряда систем проект вводит для всей Эстонии систему соединения имущества и лишь договором может быть установлены общность или раздельность такового.

По проекту при соединении имущества, имущество каждого из супругов остается собственностью внесшего его при вступлении в брак. Однако, такое имущества жены находится в управлении и пользовании мужа без специального ее на это волеизъявления. Жена не может без согласия мужа отчуждать и обременять

долгами такое имущество и это последнее не отвечает за долги жены сделанные ею без согласия мужа во время брачного союза. Мотивом принятия этого последнего ограничения было желание комиссии предоставить женщине особую защиту против кредиторов. И некоторые другие иностранные законодательства знают такую защиту. Так по Шведскому праву жена, в тех особых случаях, когда она ответственна за долги мужа, отвечает лишь в течении двух лет после наступления срока платежа (при бессрочных обязательствах в течении двух лет со дня возникновения таковых). При прекращении брака жена отвечает за долги мужа лишь имуществом имеющимся у нея в этот момент. Таким образом, Шведский закон защищает женщину от кредиторов мужа, в то время, как проект, „защищает“ ее от ее личных кредиторов, тем самым сильно ограничивая ее права.

Действующий закон и проект уложения в первых двух чтениях считает имущество приобретенное в браке имуществом мужа. В третьем чтении, однако, здесь было произведено коренное изменение. Приняв во внимание, что замужняя женщина при существующих экономических условиях почти всегда участвует в накоплении имущества, проект считает приобретенное в браке общим имуществом супругов. Муж не может без согласия жены делать распоряжения превышающие обычные, относительно этого имущества, давать сведения жене о нем и т. д. При прекращении брака жена получает половину имущества, если от брака имеются дети и одну треть имущества, если брак был бездетным.

На конгрессе эстонских юристов правильно указывалось несправедливость такого распределения.

Проект внес некоторые изменения и в самое определение категории имуществ. Действующее право знает особый род имущества — отдельное имущество (Sondergut). Между прочим, к этой категории относится и так наз. утренний дар (Morgengabe).

По проекту такое „отдельное“ имущество могут иметь оба супруга. Категория „утренний дар“ проектом совершенно отбрасывается.

Действующий закон считает приданым (Aussteuer) всякого рода движимое имущество, которое жена приносит с собой с целью облегчить мужу расходы в начале брачной жизни.

Веном (Mitgabe) действующий закон называет денежные капиталы, недвижимости и права пользования, которые приносятся женой в брак с целью облегчить расходы всей брачной жизни.

Проект соединяет эти две категории в одну — приданое.

При обсуждении вопроса в комиссии представительницей женских организаций было указано на ненужность этой категории ибо все вносимое в брак имущество в первую очередь должно расходоваться на нужды семьи.

Введение этой категории является лишь небольшим противоречием по сравнению с тем, которое создает проект, с одной стороны возлагая на женщину обязанности участвовать в несении расходов семейной жизни, с другой стороны препятствуя ее самостоятельности, ограничивая ее права.

Проект дает широкую возможность супругам устанавливать то или иное имущественное взаимоотношение. Вряд ли, однако, это явится достаточным коррективом главной системы. Особенно вредно может отразиться такое заключенные договоров на интересах третьих лиц (в силу этих соображений эта возможность ограничена Шведским и Финским законодательством).

Против системы соединения имущества, как не соответствующей требованиям действительности, высказался конгресс юристов в Гейдельберге (1924 год).

На конгрессе эстонских юристов в Тарту (март 1930 г.) были высказаны соображения о непригодности „соединения имущества“ в качестве законной системы. Предлагалось между прочим принять в качестве такой системы соединения лишь приобретенного в браке имущества (Венгрия 1894 г. Система имущественного взаимоотношения супругов у землед. и лиц нек. друг. проф.).

Конгрессом была принята следующая резолюция: семейное право нового Эстонского Гражд. улож. должно по возможности базироваться на принципе полного равноправия всех граждан.

Остается пожелать, чтобы эта резолюция нашла свое полное осуществление при принятии нового уложения и чтобы обоим супругам была предоставлена рав-

ная возможность распоряжения и пользования своим имуществом.

Таллин. 1930.

М. Шлифштейн.  
Пом. присяжн. поверенного.

## Меря, Весья и Муром.

Еще проф. Ключевский указывал на то, что великорусское племя образовалось „из слияния элементов славянского и финского с преобладанием первого“. Однако, этот интересный вопрос русской истории, как то мало подчеркивался, мало занимал русское общество. Между тем, не вдаваясь в дебри антропологии, можно говорить о бесспорном взаимодействии славянских и финских племен.

Приблизительно с половины XII в. становится заметным запустение Киевской Руси — Приднепровья, вследствие усилившегося напора кочевников (печенегов, а затем половцев) и княжеских междоусобиц, а также вследствие ослабления торговли с Византией. С этого времени и замечается усиленный отлив населения. Эмиграция шла в двух направлениях. Одна струя двинулась на запад, в область верх. Днестра и Вислы, в глубь Польши, другая же на северо-восток, в междуречье Оки и Волги, в далекий Ростовский край. Заселение этой окраины славянами началось задолго до XII в. и шло, главным образом, из Новгородской области, которым принадлежал этот край.

Пробраться из Киева в далекий Ростовский край было делом нелегким, нужно было идти сквозь дремучие леса вятичей, (почему и край этот назывался залесским). Главная масса переселенцев из Киева состояла из „смердов“, а также мастеров и рабочих, потерявших свой заработок в обедневшей Киевской Руси. В междуречьи Оки и Волги русские переселенцы встретились с финскими племенами: мерей, муромей и весью. Встреча эта имела мирный характер — произошло не завоевание, а мирное заселение края. Русские колонисты, сливаясь с туземцами, постепенно брали вверх над ними. В результате — меря, мурома и весья исчезли или вернее, посредством более сильных соседей претворялись в особый тип — великорусский.

Меря помещается в первоначальной киевской летописи при двух озерах:

Ростовском (Неро) и Переяславском (Клещине), весь на Белом озере, а мурома на Нижней Оке. Население первых двух озер стало центром заселения земли Ростовской. Белое озеро было только одним из главных пунктов для проникновения туда новгородской колонизации, двигавшееся всегда по рекам. Волга с притоками стала главной водной артерией для проникновения в землю мери. По этим рекам издревле сновали „ушки“ и „уструги“ переселенцев с Волхова. Волга вела в богатые страны — в Болгарию и далее к Хвалынскому (Каспийскому) морю. На Волге для новгородцев открывалось широкое раздолье, путь „вниз по матушке по Волге“ был им давно известен. Наиболее древним поселением славян среди мери является Ростов Великий. Название его Срезновский производит от собственного имени Рост; он существовал еще при Рюрике (IX в.). Позднее были основаны Суздаль, потом Ярославль, Муром.

Многие исследователи местной старины пытались провести границы распространения мери на основании археологических данных и по дошедшей до нас географической номенклатуре. Так в Переяславском уезде Владимирской губ. несколько селений напоминают своими названиями Мегю. В Богородском уезде Московской губ. есть село Меря. В Бронницком уезде — речка Мерская, а в Костромской губ. — речка Меря, впадающая в Волгу. По мнению гр. Уварова (московского археолога), Диева (исследователя — костромича), Серебрянникова (ярославского историка) — меря проживала главным образом в губерниях: Ярославской, Костромской, Владимирской до Клязьмы и северной части Московской. В первых трех губерниях замечаются особые свойства говора, характеризующиеся полногласием и некоторыми чуждыми словами, находящимися до сих пор в употреблении. Там же имеются особые тайные языки, например язык офеней, этих

продавцов-ходебщиков Владимирской губ. Сами же себя они называют мясы-ками. В Нерехте есть еще один тайный язык — елтонский (от слова елтыш — безмен). Земля по елтонски — ма (как и по фински), а киншить — приставать; отсюда — Кинешма, т. е. пристанище на земле. А костр значит город, так что Кострома — поселение на земле. Отметим еще, что в междуречьи Оки и Волги можно встретить множество не русских названий озер (Караш, Гаден), рек (Нерль, Пулахма, Сара, Ухтома, Ушлома, Ильма). Между прочим многие реки оканчиваются на „ва“ (— что по фински — вода) — Протва, Москва, Сылва, Коква. Название самой Оки финского происхождения (joki — значит река вообще).

Имеются еще и другие данные (мифы, обычаи, антропологические изыскания), которые дают право предполагать, что исчезнувшие финские народцы, в особенности мера, не пропали бесследно: остатки их живут в нынешнем великорусском населении края. Это выдает и физиономия великоросса, — „Его скуластость“, замечает проф. Ключевский, „преобладание смуглого цвета лица и волос и особенно типический великорусский нос, покоящийся на широком основании, с большой вероятностью ставят на счет финского влияния“.

Е. Ф.

## Мысли по касательной.

(О кинематографе).

Происходит так — вечером, когда ярость рекламных огней отодвигает скромные звезды в глубь неба, люди отправляются в кинематограф. Влюбленные парочки, бездельники, убивающие время, умеренно и расчетливо веселящиеся обыватели, милые и смешные фанатики кино — все эти случайные и неверные друзья нового искусства собираются в темном и просторном зале. Одни из них пришли ради прекрасных глаз героини, другие жаждут отдохнуть от трудных и скучных будней, некоторые равнодушно ждут обычной порции еженедельного удовольствия, — какими силами сделать так, чтобы вялые и эластичные, молодые и утомленные жизнью, меленные и взволнованные сердца подчинились единому ритму? И вот умирают электрические лампочки и отдают свой свет экрану. Пусть на этот раз экран принадлежит не тщетности американской комедии, не ватному пафосу ковбойской поножовщины — пусть сегодня на афишах имя Искусства и на полотне вторичная подлинность жизни, и вы увидите это редкое и прекрасное чудо подчинения толпы творчеству.

Кажется прошло время, когда на полке человеческих приобретений кинематограф занимал неясное и непостоянное место между граммофоном и мясорубкой. Как роман Уоллеса в руках

скучающей девицы, как утренняя гимнастика с зубной щеткой, как песенки Вертинского, как парад стареющих и возрождающихся фокстротов, кино прочно утвердилось в культурном миниуме нашего быта. Но девице, трепещущей над призрачным и прекрасным миром уголовных страстей, трудно пропустить через игольное ушко своего воображения живое и яркое многообразие связанной экраном жизни. Она сплющивает и скручивает его в белесую и нехитрую нитку, она нанизывает на нее стеклянные бусы своих восторгов, и ее крошечное фарфоровое сердце вмещает в себя нежность ко всей мужской половине Холливуда. И как привить этой девице, которая — увь! — является главной пестрительницей кинематографа, настоящее понимание его смысла? Не театр, лишенный одного измерения, не литература, воплотившаяся в наглядные образы, а иной, двухмерный, условный и самодовлеющий мир, вырастающий из удивления Десятой музы перед жизнью и связанный воедино силою движения и ритма.

Умирают электрические лампочки и отдают свой свет экрану. Наступает вторичный творческий момент — вещь, созданная изолированным сознанием ее автора и ремесленным бесстрашием безымянных мастеров, ждет своего оправдания от зрителя.

Слова и образы в поэзии, звуки в музыке — они несут в себе некоторую прекрасную двойственность, они говорят больше чем значат, они преодолевают добродетельную прямолинейность, острожную буквальность, скучную точность. И их смятение, их затрудненность, их двоедущие оправдывается отраженной творческой радостью, которая присутствует при активном переживании искусства. Этой художественной затрудненностью кино обладает в меньшей степени, чем литература или музыка, и на его наглядность зритель отвечает понижением своего внимания. И в этом некоторое неблагополучие.

Зрителю нужны только глаза — со всей убедительностью и закономерностью действительности на экране развертывается очередной конфликт между добродетелью и пороком, и так очевидно, что этот надменный сюртук олицетворяет змея, а та спортивная фуфайка — Георгия Победоносца, и так приятно, что надписи предупредительно и добросовестно расчищают дорогу событиям. И зритель дремлет, зритель благодушествует, зритель кладет руку на перламут-

ровое колено своей соседки — разве могут его взволновать бледноватые вариации одной и той же осточертевшей темы?

Но иногда тема представляется ему в ином свете. Не через протоколизацию существующего, не через повторение литературных упражнений, не через бессмысленную верность восторгу: — „как настоящее!“ — а в разложенном на элементы и вновь сведеном в единое целое виде открывается ему мир. Светлый полотняный прямоугольник разрывается в лоскуты, и через зрительный зал проходят сквозняк искусства. Мир шире, чем мы думали, значительнее, интереснее. Мы не знали, что в нем столько красноречивых вещей, мы не умели смотреть вокруг себя и замечать жизнь и смысл в каждом трепещущем на ветре листе. И решая символику деталей, подчиняясь пафосу ритма, ощущая творческую волю в кинематографическом преображении мира, мы начинаем догадываться, что эта невинная и призрачная игра теней увеличила наши земные богатства.

X.

# СТОМАТОЛ

ЗУБНАЯ ПАСТА

И ЭЛЕКСИР

Наилучшее средство для гигиены

полости рта.

## СОДЕРЖАНИЕ.

Вячеслав Лебедев. Стихотворения . . . . .	3
А. М. Ремизов. Ералаш . . . . .	5
Борис Поплавский. Стихотворения . . . . .	8
Б. Афанасьевский. Хаим Цинсгрошэ . . . . .	9
Стернаш. Стихотворения . . . . .	16
Юрий Иваск. По поводу и по случаю:	
I) Тридцатые годы минувшего столетия . . . . .	22
II) О Шиллере . . . . .	22
III) О Пастернаке . . . . .	24
Герман Хохлов. Гайто Газданов. Вечер у Клер . . . . .	25
К. К. Гершельман. Арт-Виктор . . . . .	27
Нина Рудникова. Стихотворения . . . . .	32
Ирбор. Стихотворения . . . . .	33
Борис Вильде. Трое в одной могиле . . . . .	34
К. Гаврилов. О вспрыскивании спермы в организм высших животных . . . . .	36
М. Л. Шлифштейн. Имущественные отношения между супругами . . . . .	38
Е. Ф. Меря, Веся, Мурома . . . . .	40
Х. Мысли по касательной . . . . .	41
В тексте: Русские питатели в Париже в изображении А. М. Ремизова.	



*Kino-Teater  
Gloria Palace*

*Kinnitus 1/3 „EKA“*

Так будет выглядеть площадь Свободы в 1931 г. когда будет готово здание А.-О. „ЕКА“.

**Е**СЛИ Вы желаете обеспечить себя и свою семью от смерти, несчастных случаев и пожаров, то страхуйте свою жизнь и имущество

**в Эстляндском Страховом Акционерном О-ве**

**ЭКА**

**Т**ОРОПИТЕСЬ!

**Н**Е откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

**З**автра, быть может, будет уже поздно!

Все сведения можете получить в Правлении О-ва, Ревель, Морская 6, Тел. 426-95.

**Представительства и агентуры во всех городах и местечках Эстонии.**

**Самые СОЛИДНЫЕ ГАРАНТИИ**

**при самых ДЕШЕВЫХ премиях!**

КО ДНЮ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  
ВЫЙДЕТ ГАЗЕТА  
**«Н О В Ь» № 3**  
сборник произведений молодежи.

**ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД**

**С А К А/О.**

**Осн. 1876.**

**ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 1.500.000 Кр.**

**ПИВО И МЕД**

**ПРАВЛЕНИЕ В РЕВЕЛЕ.**

**ГЛАВНЫЙ СКЛАД:** Таллин, Б. Монастырская 10/12

Телефоны: (2)17-48 и (2)32-86.

# ГРАФОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

## ЭКСПЕРТА

**Н. А. ВИРЕНА**

(Берлинский университет).

**ТАЛЛИН, МОРСКАЯ (РІКК) 46.**

Телефон № (2)22-76.

### I. Экспертизы по сличению почерков:

подделка подписи, анонимные письма и т. п.

### II. Определение характера и способностей

по почерку (не менее 10 стр. чернилами; желательно указание возраста и пола).

### III. Определение жизненных взаимоотношений

по почеркам, советы желающим вступить в брак, дружбу, сотрудничество и т. д.

Чисто **подсознательным** путем каждый из нас определяет других людей по их внешнему облику: по движениям, походке, способу себя держать и т. д. — Все же, в своем поведении человек может **представляться**: может **казаться** иным, чем он есть. **Только в почерке** движения **НЕПРОИЗВОЛЬНЫ**, **естественны** и **правдиво указывают** на **ИСТИННЫЙ СКЛАДЪ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА**.

**Своевременный совет НАУЧНОГО ГРАФОЛОГА** (не шарлатанов) **ИЗБАВИТ** Вас от многих последующих **тяжелых СТРАДАНИЙ** и **недоразумений!**

По уголовным делам выступление  
экспертом на суде.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА**  
**„ФРАНЦ КРУЛЛЬ“**  
**ТАЛЛИН. ЭСТОНΙΑ.**

ОСНОВАН 1865 г. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДА № 425-35



**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЗАВОДА:**

Котлы и паровые машины. Оборудование молочных ферм. Холодильники. Оборудование скотобоен, винокурен, пивоваренных и крахмальных заводов. Всевозможные машины дорожного строительства — как-то: катки, сортировки, элеваторы дробилки и под'емные платформы для грузовых автомобилей. Трансмиссии и всевозможные железные конструкции. Чугунные радиаторы, трубы и котлы центрального отопления. )-( Всевозможные чугунные изделия. )-(

**Требуйте сметы и прейскуранты.**  
**Полная гарантия за все работы.**

**ЖЕЛАНИЕ** каждого курящего курить  
С УДОВОЛЬСТВИЕМ  
СВЕЖИЯ И АРОМАТИЧНЫЕ ПАПИРОСЫ.

**НАША** постоянная забота —  
удовлетворить это желание —

**ПОЭТОМУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ СОРТА:**

**Manon**

20 шт. — 35 ц.

**Ваар**

25 шт. — 35 ц.

**Stella**

20 шт. — 25 ц.

**Lia**

25 шт. — 25 ц.

**Diva**

25 шт. — 25 ц.

**Nilus**

20 шт. — 15 ц.

**ВНИМАНИЕ!**

На нашей фабрике табак очищается от пыли  
и от других вредных веществ пневматическим  
способом.

**А.-О. „ЛАФЕРМ“.**

**МЫЛОВАРЕННЫЙ И ПАРФЮМЕРНЫЙ ЗАВОД**

**„RIVIERA“**

**владелец Б. Гликман.**

**Tallinn, S. Pärnu mnt. 120.**

Asut. 1900 a.

—:—

**Таллин, Б. Перновская ул. 120.**

Сущ. с 1900 г.

ТРЕБУЙТЕ ПОВСЮДУ

**Sauna sepp „Riviera“ № 52**  
**Банное мыло „Riviera“ № 52**

а также

**косметические изделия „Riviera“.**

**АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА**

**„РУССКИЙ МАГАЗИН“**

**Eesti, Tallinn,**

**S. Karja, 9**

**J. L. Schiefschtein.**

**Эстония, Таллин (Ревель),**

**Б. Михайловская 9,**

**И. Л. Шлифштейн.**

**Цена № в розничной продаже**

Эстония . . . 50 ц.  
С. Ш. Америки 30 ц.  
Англия . . . 1 шил.  
Бельгия . . . 4 фр.  
Болгария . . . 25 л.  
Венгрия . . . 1 пенго

Германия . . . 70 пф.  
Греция . . . 12 драхм  
Италия . . . 4 лиры  
Латвия . . . 0,80 лата  
Литва . . . 1 л. 40 ц.  
Польша 1 зл. 40 гр.

Румыния . . . 20 лей  
Турция . . . 40 п.  
Финляндия 6 . мар.  
Франция . . . 4 фр.  
Чехословакия . 6 кр.  
Югославия . 10 дин.